

# Эрнст Теодор Амадей Гофман.

## Золотой горшок: сказка из новых времен

### ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ

Злоключения студента Ансельма... - Пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.

В день вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, - и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: “Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..” В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избежать направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: “Ах, бедный молодой человек! Ах, она проклятая баба!” Станным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка.

Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задыхался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в

Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день вознесения, который был для него всегда особенным праздником, - и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попить настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек - словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в следующих словах: "А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу по угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают не землю намавленной стороной, - обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись наконец студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и вяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопаается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. "Вы, сударь, взбесились!" - рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день

вознесения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью: “Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!” Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком, я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы: “Который теперь может быть час?” или: “Что это такое играют?” - я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: “С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру из “Девы Дуная”, или: “Теперь, сейчас пробьет шесть часов”. И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользительный...” Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листьями; то - что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот - он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:

“Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз, - солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листьями, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы, скорей!”

И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: “Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях”. Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои темные листья. “Это заходящее солнце так играет в кусте”, - подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: “Ты лежал в моей тени, мой аромат обведал тебя, но ты не понимал меня. Аромат - это моя речь, когда любовь воспаляет меня”. Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: “Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь,

когда любовь воспламеняет меня”. Солнечные лучи пробивались сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: “Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня; жар - моя речь, когда любовь меня воспламеняет”.

И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенной желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издали раздавался грубый густой голос: “Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!”

И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.

## ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ

Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. - Поездка по Эльбе. - Бравурная ария капельмейстера Грауна. - Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками.

“А господин-то, должно быть, не в своем уме!” - сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: “О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!” И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желанья и нетерпения тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. “А господин-то, должно быть, не в своем уме!” - сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:

- Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так

идите-ка лучше добром домой да на боковую. - Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное “ах”. - Ну, ну, - продолжал горожанин, - не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими - ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набыю себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кiset, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее пользительным табаком. В это время подошли несколько девушек; они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кiset, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. “Сатана болтает их устами”, - говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия - эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: “Господин Апсельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?” Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: “Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!” Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конrektора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избежать злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; по когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое там потрясло его грудь в судорожном скорбном восторге. “Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки, - ах, не здесь ли вы под волнами?” Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.

- Вы, сударь, взбесились! - закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: “Подобные припадки еще не замечались”. Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:

- Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь

отражением фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неведомое чувство - он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, - судорожно сжимало его грудь; и когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет: "Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя - верь, верь, верь в нас!" И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полосы. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:

- Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

И в совершенном малодушии студент отвечал:

- Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне наяву, с открытыми глазами, под бузиным деревом, у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в исступлении...

- Эй, эй, господин Ансельм! - прервал его конректор, - я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков!

Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет.

- Но, милый папа, - сказала она, - с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.

- И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор! - так вступил в беседу регистратор Геербранд, - разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.

- Ах, почтенный господин регистратор, - возразил конректор Паульман, - вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое.

Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения - слыть за пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге - лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конrektора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах.

- Да, - прибавил он, - бывают частые примеры, что некие фантазмы

являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.

Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.

- Mademoiselle, - сказал регистратор Геербранд, - у вас голосок как хрустальный колокольчик!

- Ну, это уж нет! - вдруг вырвалось у студента Ансельма, - он сам не знал как, - и все посмотрели на него в изумлении и смущении. - Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! - пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:

- Что это вы такое говорите, господин Ансельм?

Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Кон-ректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:

- Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму... ну, о чем мы с вами прежде говорили?

- С величайшим удовольствием, - отвечал регистратор, и, когда все сели в кружок, он начал следующую речь: - Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак; говорят, он занимается всякими тайными науками; но как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специес-талеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов. Один час - от трех до четырех - на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти

тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.

Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером; его настоящая страсть была - копировать трудные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специес-талеры и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь; лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать их архивариусу, как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно казалось, им управляла особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала лишней раз в пыль, - словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучье-сером фраке и черных атласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице, в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвенят специес-талеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и ослабло в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: “Дурррак! Дуррак! Дурррак! Удерррреш! Удерррреш! Дурррак!” Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка, и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: “Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!” Студента Ансельма охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. “Умертви меня, умертви меня!” - хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил:



- Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?

## ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ

Известие о семье архивариуса Линдгорста. - Голубые глаза Вероники. -  
Регистратор Геербранд.

- Дух взирал на воды, и вот они заколыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары и, сгучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидела его и, охваченная горячею, томительною любовью, молила: "О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь!" И сказал юноша Фосфор: "Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия; но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг, ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благодетельно согревает все твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра - мысль!" - "Ах! - молила лилия, - но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь!" Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал: "Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда

весел и бодр и хочу тебе помочь”. Носясь вверх и вниз, дракон схватил наконец существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями; тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острою болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеванные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полный пламенного желанья небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины.

- Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, - сказал регистратор Геербранд, - а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.

- Ну так что же? - возразил архивариус Линдгорст. - То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное из всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-праба-бушка, так что я сам, собственно говоря, - принц.

Все разразились громким смехом.

- Да, смейтесь, - продолжал архивариус Линдгорст, - то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.

- Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? - раздавались со всех сторон вопросы.

- Нет, - отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, - он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.

- Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, - подхватил регистратор Геербранд, - в драконы?

“В драконы”, - раздалось отовсюду, точно эхо.

- Да, в драконы, - продолжал архивариус Линдгорст, - это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно - всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у

истоков Нила.

Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линдгорста, чтобы не почувствовать какого-то, для него самого непонятого, содрогания. Особенно в сухом, металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастливая случайность избавила его если не от смерти, то, по крайней мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его домой.

- Пусть обо мне думают что хотят, - сказал студент Ансельм, - пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той ведьмы от Черных ворот; что случилось потом - об этом я лучше не буду говорить; но, если бы я, очнувшись от своего обморока, увидел перед собою проклятую старуху с яблоками (потому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгновенно сделался удар или я сошел бы с ума.

Никакие убеждения, никакие разумные представления конrektора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к чему, и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по мнению регистратора Геербранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Линдгорста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студента Ансельма с архивариусом, а так как Геербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий, - что студент Ансельм и принял с благодарностью.

- Вы заслужите милость божью, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок, - заявил конректор Паульман.

- Милость божью! - повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка! И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпою и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал:

- Высокоцитимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты.

- Это мне весьма и чрезвычайно приятно, - быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом.

- Совсем чудной старик, - проговорил наконец регистратор Геербранд.

“Чудной старик!” - пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись и сказали:

- Архивариус был сегодня опять в своем особенном настроении; завтра он, наверно, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки; на это по надо обращать внимание!

“Это правда, - подумал студент Ансельм, - кто станет обращать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты? И потом, зачем же в самом деле регистратор Геербранд стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой? Нет, нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тайный архивариус Линдгорст, и удивительно щедр; чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в двенадцать часов пойду к нему, хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками!”

## ВИГИЛИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Меланхолия студента Ансельма. - Изумрудное зеркало. - Как архивариус Линдгорст улетел коршуном и студент Ансельм никого не встретил.

Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда все то, что в другое время представлялось важным и значительным твоему чувству и мысли, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспитанное дитя, не решается высказать, и в этом томлении по чему-то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду носится за тобою в прозрачных, от пристального взора расплывающихся образах, - в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем на разные лады хлопчут люди в своей пестрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто ты уже не принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту знаешь то состояние, в котором находился студент Ансельм. Вообще я весьма желаю, благосклонный читатель, чтобы мне и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим глазам студента Ансельма. Ибо, в самом деле, за те ночные бдения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придется еще рассказать так много чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привидению, отодвигает повседневную жизнь обыкновенных людей в некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Линдгорста и не возымел бы даже каких-нибудь несправедливых сомнений относительно конректора Паульмана и регистратора Геербранда, несмотря на то что уж эти-то два почтенных мужа и доселе еще

обитают в Дрездене. Попробуй, благосклонный читатель, в том волшебном царстве, полном удивительных чудес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и величайший ужас, где строгая богиня приподнимает свое покрывало, 'так что мы думаем видеть лицо ее, но часто улыбка сияет в строгом взоре, и она насмешливо дразнит нас всякими волшебными превращениями и играет с нами, как мать забавляется с любимыми детьми, - в этом царстве, которое дух часто открывает нам, по крайней мере во сне, - попробуй, говорю я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится, повседневной жизни, и ты поверишь, что это чудесное царство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь, чего именно я и желаю от всего сердца и ради чего, собственно, я и рассказываю тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как сказано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Линдгорста, в мечтательную апатию, делавшую его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному местечку на траве; но едва он на него сел, как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда, стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, извивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах ее стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузинное дерево и стал кричать внутрь его ветвей: "Ах! еще раз только мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя... Еще раз только взгляни на меня своими прелестными глазками!.. Ах! я люблю тебя и погибну от печали и скорби, если ты не вернешься!" Но все было тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бузина своими ветвями и листьями. Однако студенту Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. "Это то, - сказал он самому себе, - что я тебя всецело, всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою как возлюбленною моего сердца... Но я знаю, ты будешь моя, - и тогда исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира". Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и звал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он, по обыкновению, предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный, худой человек, завернутый в широкий светлосерый плащ, и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал:

- Гей, гей! Что это там такое хныкает и визжит? Эй! эй! да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!

Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день вознесения, неведомо откуда закричал: “Эй, эй! что там за шум, что там за толки?” - и так далее. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова.

- Ну, что же с вами такое, господин Ансельм? - продолжал архивариус Линдгорст (человек в светло-сером плаще был не кто иной). - Чего вы хотите от бузинного дерева и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?

И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грозы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился:

- Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве, я видел в вознесение золотисто-зеленую змейку, - ах! вечную возлюбленную моей души, и она говорила со мною чудными кристальными звуками; но вы, вы, господин архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою.

- Неужели, мой милейший? - прервал его архивариус Линдгорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой.

Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал:

- Ну, так я расскажу вам все роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне все что угодно. - И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину, и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. - Все это, - заключил студент Ансельм, - я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною; это отнюдь не был сон, и, пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения.

- Нисколько, - возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием, - золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей, Серпентины. Я, впрочем, знал это еще тогда, в вознесенье, и так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло и они довольно напелись и напились лучей.

Студент Ансельм принял это так, как будто ему только сказали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал”, и, хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать, но архивариус не дал ему говорить: быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал:

- Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие.

Студент Ансельм посмотрел, и - о, чудо! - из драгоценного камня, как из

горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков и средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза говорили: “Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь - можешь ли ты любить?”

- О Серпентина, Серпентина! - закричал студент Ансельм в безумном восторге; но архивариус Линдгорст быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку.

- Видели ли вы золотых змеек, господин Ансельм? - спросил архивариус Линдгорст.

- Боже мой! да, - отвечал тот, - и дороую, милую Серпентину.

- Тише, - продолжал архивариус, - на нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней.

Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, - архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как будто из футляра, и нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил:

- Ну, так почему же вы не пришли ко мне? - то он принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей.

- Любезный господин Ансельм, - сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ, - любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите говорить; эта фатальная тварь проделывает со мною всякие штуки, и, если она сделалась бронзовою, чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, - это в самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в двенадцать часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А теперь - adieu, любезный господин Ансельм. Я хожу немного скоро и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мной. Adieu, 'до свидания, завтра в двенадцать часов. - Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золотисто-желтою жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак,

вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком содой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез архивариус. “Но, может быть, он и сам собственно особою и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Линдгорст, - сказал себе студент Ансельм, - потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных, удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет! Ты живешь и горишь в моей груди, прелестная, милая Серпентина! Только ты можешь утишить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах! когда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая Серпентина?..” Так громко взывал студент Ансельм.

- Вот скверное, нехристианское имя, - проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин.

Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: “Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Геербранд!” Но с ним не встретился ни тот, ни другой.

## ВИГИЛИЯ ПЯТАЯ

Госпожа надворная советница Ансельм. - Cicero, De officiis[\*]. Мартышки и прочая сволочь. - Старая Лиза. - Осеннее равноденствие.

- С Ансельмом ничего не поделаешь, - сказал конректор Паульман, - все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными; он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего.

[\* Цицерон, О долге (лат.).]

Но регистратор Геербранд возразил, лукаво и таинственно улыбаясь:

- Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор! Он субъект курьезный, но из него многое может выйти, и когда я говорю “многое”, то это значит - коллежский ассессор или даже надворный советник.

- Надворный? - начал было конректор в величайшем удивлении, и слово застряло у него в горло.

- Тише, тише, - продолжал регистратор Геербранд, - я знаю, что знаю! Уже два дня, как он сидит у архивариуса Линдгорста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне: “Вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший! Из него будет толк”. И если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи, - те! те! - об этом мы поговорим через годик! - С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежнею хитрою улыбкою, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конrektора неподвижно сидящим на своем стуле.

Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление. “Разве я не знала всегда, - думала она. - что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне! Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два раза руку? И разве



во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, да, он действительно любит меня, и я...” - Вероника предалась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или на Новом рынке, или на Морицштрассе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: “Только, пожалуйста, не испортите этого блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!” Мимоидущие франты украдкой поглядывают вверх, и она явственно слышит: “Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький чепчик!” Тайная советница Игрек присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковы купальни? “Кланяйтесь и благодарите, я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Те-цет”. Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам; он одет по последней моде. “Ба! вот уж и двенадцать часов! - восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. - Как поживаешь, милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть”, - продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних.

- Ах, миленькие, чудесные сережки! - вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки.

- Что же это такое наконец будет? - сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение Цицеро, De officiis и чуть не уронивший книгу. - И у тебя такие же припадки, как у Ансельма?

Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который, против своего обыкновения, не показывался перед тем несколько дней, и Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его существо как-то изменилось. С не свойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. “Это был уже надворный советник, - пробормотала Вероника, - и он поцеловал мне руку, не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле, он любит меня”. Вероника снова предалась своим мечтам; но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил: “Все это глупости и пошлости и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем; да он и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука”. Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила:

- Ах, это правда, он меня не любит, и я никогда не буду надворной советницей!

- Романические бредни, романические бредни! - закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон.

“Этого еще недоставало”, - вздохнула Вероника, и ей стало очень досадно на двенадцатилетнюю сестру, которая безучастно, сидя за пальцами,

продолжала свою работу. Между тем было уже почти три часа, - как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепьяно, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: "Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!" И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом, и заворчал и задрезжал: "Не будет он твоим мужем!"

- Неужто ты ничего ни слышишь, ничего не видишь, сестра? - воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уж ни до чего дотронуться.

Френцхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялец и сказала:

- Что это с тобою сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все у тебя стучит и звенит, нужно тебе помочь.

Но тут со смехом вошли веселые девушки-гости, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки - за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особенным мыслям и что вдруг, среди бела дня, ею овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озираться по сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика - так называлась старшая Остерс - была помолвлена с одним офицером, который находился в армии и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение; но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала.

- Милая моя, - сказала Анжелика, - ужели ты думаешь, что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела, - ах, боже мой! - так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орденами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная перемена места, - так как он не хочет оставлять своего полка, - делает для него невозможным дать о себе известие; но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает сюда и, садясь в экипаж, узнает о своем производстве в ротмистры...

- Но, милая Анжелика, - прервала ее Вероника, - как же ты это все теперь уже знаешь?

- Не смейся надо мною, мой друг, - продолжала Анжелика, - да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда, из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это

таинственное часто видимым и, можно сказать, осязательным образом вступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь, что все это правда.

Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желание расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода и любит, чтоб приходили одни, без свидетелей. Была как раз среда, и Вероника решилась, под предлогом проводить своих гостей, пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльбского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она поспешила к Озерным воротам и скоро очутилась в указанной ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидела маленький красный домик, в котором, по описанию, должна была жить фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика.

- Не живет ли здесь фрау Рауэрин? - крикнула она в пустоту, так как никто не показывался; вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед нею к комнатной двери, которая отворилась вслед за вторым мяуканьем.

- Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! - так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Длинная, худая, в черные лохмотья закутанная женщина! Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, ослаблялся в улыбку и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы и - чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным - два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала:

- Тише вы, сволочь! - И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало; только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободрилась, ей уже не было так жутко, как там, в сенях, и даже сама женщина не казалась уже ей такою ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные

чучела каких-то животных свешивались с потолка, на полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами; когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда; иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.

- С вашего позволения, барышня, - сказала старуха, ухмыляясь, схватила большое помело и, окунув его в медный котел, брызнула в камин.

Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма; но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженной свечой, и Вероника уже не увидела ни зверей, ни странной утвари - это была обыкновенная бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом:

- Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь; ну что ж, ты узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он сделается надворным советником. - Вероника онемела от изумления и испуга, но старуха продолжала: - Ведь ты уж мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник, - ведь я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка! Оставь, оставь Ансельма, это скверный человек, он потоптал моих деток, моих милых деток - краснощекие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешков в мою корзину. Он связался со стариком; он третьего дня облил мне лицо проклятым ауриингментом, так что я чуть не ослепла; посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею; он никогда не сделается надворным советником, он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!

Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала серьезным решительным тоном:

- Старуха! я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела - может быть, с лишним любопытством и опрометчиво - узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите, вместо того чтобы исполнить мое желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо, потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит, но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!

Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, воскликнула:

- Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?

Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою - правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов - бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конректора Паульмана. Старуха теперь выглядела уже совсем иначе; вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев - платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала:

- Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей

воли; он попал в руки архивариуса Линдгорста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус - мой величайший враг, и я могла бы рассказать тебе про него многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья - в этом все дело! Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь.

- Но скажи мне, ради бога, Лиза!.. - воскликнула Вероника.

- Тише, дитя, тише! - прервала со старуха. - Я знаю, что ты хочешь сказать; я сделалась такою, потому что должна была сделаться, я не могла иначе. Ну, так вот - я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его как любезнейшего надворного советника в твои объятия; но ты сама должна мне помочь.

- Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма, - едва слышно пролепетала Вероника.

- Я знаю, - продолжала старуха, - что ты смелое дитя, - напрасно, бывало, я страшила тебя букою, ты только больше раскрывала глаза, чтоб видеть, где бука; ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле пугала соседских детей. Ну, так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линдгорста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма, надворного советника, своим мужем, так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в одиннадцать часов, ночью, и приходи ко мне; я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь недалеко, в поле; мы приготовим что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи, папа уж ждет за ужином.

Вероника поспешила домой в твердом намерении не пропустить ночи равноденствия, потому что, думала она: "Лиза права, Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда; мой он ость и моим останется, надворный советник Ансельм".

## ВИИГИЛИЯ ШЕСТАЯ

Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками. - Золотой горшок. -  
Английский косою почерк. - Скверные кляксы. - Князь духов.

"Но может быть и то, - сказал самому себе студент Ансельм, - что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторою жадностью наслаждался у мосье Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться". Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтою жидкостью, которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пережитые им удивительные приключения в пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: "Ах, не иду ли я к

архивариусу затем лишь, чтобы видеть тебя, дорогая, милая Серпентина!” В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание Линдгорстовых манускриптов. Что ему уже при входе в дом, или даже до того, могут встретиться всякие чудеса, как и прежде, в этом он был убежден. Он уже не думал о желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот, не долго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась, и сплющилась, и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому: “Динь-динь - входи; динь-дон - к нам в дом, живо, живо - динь-динь”. Он бодро взшел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться; тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул:

- Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы наконец сдержали слово; следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию. - С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор.

Ансельм бодро шел за архивариусом; они прошли из коридора в залу, или, скорее, - в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие чашечки лилий; странные голоса шумели и шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетанье и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись: “Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка скворец, господин Ансельм? Вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги!” Так кричало, хихикало и дразнило изо всех углов, совсем близко от студента, который тут только заметил, что всякие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидел, что это был архивариус Линдгорст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман.

- Извините, почтеннейший господин Ансельм, - сказал архивариус, - что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнею ночью должны распуститься цветы, - но как вам нравится мой маленький зимний сад?

- Ах, боже мой, выше всякой меры, здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, - отвечал студент, - но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!

- Что тут за вранье? - сердито закричал архивариус в кусты.

Тут выпорхнул большой серый попугай и, севши около архивариуса на миртовую ветку и с необыкновенною серьезностью и важностью смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал:

- Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что...

- Тише, тише! - прервал архивариус старика. - Я знаю негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг! Пойдемте дальше, господин Ансельм.

Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья; посередине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфиновая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы; иногда он видел самого себя с стремительно простертыми руками - ах! около куста бузины... Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга.

- Серпентина, Серпентина! - закричал он громко; тогда архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал:

- Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше.

Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом; он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал:

- Ну, теперь мы на месте.

Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и несколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед ним - кожаное кресло.

- Вот пока, - сказал архивариус Линдгорст, - ваша рабочая комната; придется ли вам впоследствии заниматься в той другой, голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери, я еще не знаю; но прежде всего я желал бы убедиться, действительно ли вы способны исполнить, согласно моему желанию и надобности, предоставленную вам работу.

Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы, в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косоного почерка, странно улыбнулся и покачал головою. То же самое повторял он при каждом следующем листе, так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной, он не мог удержать своей досады и проговорил:

- Кажется, господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами?

- Любезный господин Ансельм, - сказал архивариус Линдгорст, - вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит и от дурного материала, который вы употребляли.

Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях. Но архивариус Линдгорст подал ему английский лист и сказал:

- Судите сами!

Ансельм стоял как громом пораженный, - таким мизерным показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами, и - о, ужас! - довольно удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тетради школьника.

- И потом, - продолжал архивариус Линдгорст, - ваша тушь тоже плохо держится. - Он окунул палец в стакан с водой, и, когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно исчезло.

Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло, - он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в руках, но архивариус Линдгорст громко засмеялся и сказал:

- Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм; чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь, у меня, лучше вам удастся; к тому же и материал здесь у вас будет лучше! Начинайте только смелее!

Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости, потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. "Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо - это пусть ведает бог и архивариус Линдгорст, - промолвил он, - но что они не моей работы, в этом я могу поручиться головой". С каждым словом, удачно выходящим па пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею - и умение. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Линдгорст был в особенно веселом расположении духа; он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Геербранде, и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его разговорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась архивариусу. Если уже перед обедом Анссельму посчастливилось в списыванье арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше, он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами: "Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее,



в се любовь?” И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате: “Я к тебе близко-близко-близко! Я помогаю тебе - будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм! Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим!” И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал; даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвеваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило шесть часов и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу; Ансельм молча встал; архивариус все еще смотрел на него как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко-торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма; легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее; просторный шлафрок ложился как царская мантия в широких складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие высокое, открытое чело, сжимались узкою золотую диадемою.

- Юноша, - начал архивариус торжественным тоном, - юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священо! Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткуются враждебными силами, совершится, когда она будет твоею и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий се собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которою ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свои искус; вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай! Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в двенадцать часов в своем кабинете! Прощай! - Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал и единственная дверь которой вела на лестницу.

Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко, он поглядел вверх, - это был архивариус Линдгорст - совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел.

- Эй, любезный господин Ансельм, - закричал он ему, - о чем это вы так задумались, или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в двенадцать часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета.

Ансельм действительно нашел блестящий специес-талер в означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. “Что изо всего этого будет, я не знаю, - сказал он самому себе. - Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая Серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна и никакое враждебное начало не может ее уничтожить; а что же такое эта мысль, как не любовь Серпентины?”

## ВИГИЛИЯ СЕДЬМАЯ

Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать. - Рембрандт и Адский Брейгель. - Волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни.

Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и прибавил:

- А пора и на покой!

- Конечно! - отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило десять часов. И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыхание Френцхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, державшего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притулилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равнодушие, даже с опасностью попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец эта роковая ночь, в которую старая Лиза обещала ей помощь и утешение, наступила, и Вероника, давно освоившаяся с мыслию о ночном странствии, чувствовала себя совершенно бодрю. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол Крестовой башни одиннадцать часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи.

- Ах, голубушка, голубушка, уж здесь! Ну, погоди, погоди! - раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. - Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприятна, - говоря так, старуха схватила Веронику своею холодною рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ.

Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом: "Свети, свети, сынок!" Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии, и тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух, ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сделала над собою усилие и, крепче цепляясь за старуху, проговорила:

- Нужно все исполнить, и будь что будет!

- Так, так, дочка, - отвечала старуха, - будь только постоянна, и я подарю тебе кое-что хорошенькое да еще Ансельма в придачу!

Наконец старуха остановилась и сказала:

- Ну вот мы и на месте! - Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него - котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и наконец голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ и покрывало и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, - были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, - все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которую стала мешать в кипящей массе, а Вероника, по ее приказанию, должна была пристально глядеть в котел и направить при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и, сверх того, локон волос, которые Вероника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила; при этом старуха выпускала непонятные, в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрерывно кружась, визжал и вскрикивал.

Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену; напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции; дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком сильны и что вообще неблагоприятно ехать в такую темень в ночь равноденствия; но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая: я дам почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрездене, где у "Золотого ангела", или в "Шлеме", или в "Stadt Naumburg"[\*] меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот ты едешь во тьме и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный, перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине его, около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, - две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы; почтальон ругается, молится и бьет лошадей - они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее носы, и длинные каштановые волосы свободно развеваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника; но страх оковал это лицо ледяным потоком; мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, который не может вырваться из мучительно сдавленной груди, - во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, повинувшись могучим чарам! Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее сидит, согнувшись, на земле длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами; из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или Адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей

адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебе отважную мысль противостоять таинственным силам огненного круга; эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам - один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул: “Гейда!” или: “Что там такое?” или: “Что вы там делаете?” Тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево, и все разом исчезло в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием, - этого я сказать не могу, но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни другой кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревели и завывало наперерыв; как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла. Тогда старуха закричала:

- Вероника, дитя мое милое, смотри туда, на дно, что ты там видишь? Что ты там видишь?

[\* “Город Наумбург” (нем.)]

Но Вероника не могла ответить, хотя ей и казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле; но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула:

- Ах, Ансельм, Ансельм!

Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь с дикими, отвратительными телодвижениями, закричала:

- Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил - фуй, фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его!

Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал:

- Эй вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!

Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день, она лежала в своей кровати, и Френцхен стояла перед нею с дымящеюся чашкою чая и говорила:

- Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь, как в горячке, без сознания и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором.

Вероника молча взяла чай, и, пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. “Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было двадцать третьего сентября? Или, может быть, я еще вчера заболела и мне все это вообразилось, а заболела я от постоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, которая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала”.

Тут вышедшая перед тем Френцхен вернулась в комнату, держа в руках

совершенно промокший плащ Вероники.

- Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом, - сказала она, - должно быть, буря ночью растворила окно и опрокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя.

Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожною дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди; схватившись рукою, она как будто ощупала медальон; когда Френцхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое круглое, гладко полированное металлическое зеркало.

- Это подарок старухи! - воскликнула она с живостью, и как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и всю ее проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать: "Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь!" Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но наконец Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: "Ах, это вы, любезная mademoiselle Паульман! Но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейке?" Вероника громко засмеялась этим странным словам; вслед за тем она очнулась как бы от глубокого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь отворилась и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал: "Ну! Ну!" Засим он написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал: "Ну! Ну!" - и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.

## ВИГИЛИЯ ВОСЬМАЯ

Библиотека с пальмами. - Судьба одного несчастного Саламандра. - Как черное перо любезничало с свекловицею, а регистратор Геербранд весьма напился.

Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Линдгорста; эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами Серпентины, - причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание, - он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все

чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи, и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешавши в чернилах какую-то черною палочкою и обменявши старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем двенадцати часов взошел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертою, и архивариус Линдгорст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал:

- Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагаватгиты. - Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз.

Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками.

Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат, ими распространяемый, поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев в таинственные аккорды глубокой тоски и желанья. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: "Господин студент, господин студент! не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете - нос расшибете. Ха, ха! Господин студент, наденьте-ка пудермантель, кум филин завьет вам тупой". Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец вошел в лазурную комнату; порфир с золотым горшком исчез, вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом - такое же бархатное кресло.

- Любезный господин Ансельм, - сказал архивариус Линдгорст, - вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию; вы приобрели мое доверие; но теперь остается еще самое важное, а именно: нужно списать, или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность: неверная черта или, чего боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье.

Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья; архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.

- Смелее, молодой человек! - воскликнул архивариус. - Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпентина тебе поможет! - Его

голос звучал, как звенящий металл, и, когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении, в библиотеке.

Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами - послами каких-нибудь планет - о том, что должно случиться с ним и с дорогой Серпентиной. "А может быть, также, - думал он далее, - его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии, - мне же подобает усердно приняться за работу". И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвевала его приятными сладкими ароматами; слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: "О браке Саламандра с зеленою змеею". Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. "Ансельм, милый Ансельм!" - повеяло из листьев, и - о, чудо! - по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка.

- Серпентина! дорогая Серпентина! - воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидел, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его.

Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из стволов показывались колючки, но Серпентина искусно вилась и змеилась между ними, влача за собою свое развевающееся блестящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки дерев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущая электрическую теплоту ее тела.

- Милый Ансельм, - начала Серпентина, - теперь ты скоро будешь совсем моим; ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда.

- Милая, дорогая Серпентина, - сказал Ансельм, - когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только ты будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел.

- Я знаю, - продолжала Серпентина, - что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда, ради своего каприза, поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх; но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет: ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все в подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня.

Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал в его фибрах и нервах; он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души и, точно яркий луч, зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть

от него, и он трепетал при этой мысли.

- Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина, - невольно воскликнул он, - только в тебе жизнь моя!

- Не покину тебя сегодня, - сказала она, - пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени Саламандров и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр (это был мой отец), гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: "Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный, восточный ветер, тебя не разбудит!" Он подошел; тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидел ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии, которой ароматы тщетно разливались по всему саду в несказанных жалобах по возлюбленной дочери. А Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его: "Сочетай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно". - "Безумец, чего ты требуешь? - сказал князь духов. - Знай, что некогда лилия была моею возлюбленною и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить, и только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила лилию, и ее листья достаточно окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но, когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело, и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя". Саламандр не послушался предостережений владыки; полный пламенного желания, заключил он зеленую змею в свои объятия, она распалась в пепел, и из пепла рожденное крылатое существо с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния, и побежал он, брызжа огнем и пламенем, по саду и опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал: "Отбушевал твой огонь, потухло твоё пламя, ослепли твои лучи, - ниспади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобою, и дразнят тебя, и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым существом". Бедный Саламандр, потухший, ниспал, по тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у Фосфора, и сказал: "Владыка, кому больше жаловаться на Саламандра, как мне? Не я ли украсил моими лучшими металлами прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохранял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудных красок? И все же я заступлюсь за бедного Саламандра; ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведаль, привела его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад. Избавь же его от тяжкого наказания!" - "Его огонь теперь потух, - сказал владыка духов, - но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, будут лишь издали в глухих отзвучиях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, - в это несчастное время вновь возгорится огонь Саламандра, но только до человека разовьется он и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии, он снова заживет в священной гармонии со всею природою, будет понимать ее



чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда, в это бедное, жалкое время внутреннего огрубения и слепоты, найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он сбросит с себя бремя пошлой жизни, если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, - тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям”. - “Позволь мне, владыка, - сказал земной дух, - сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю; я выложу его лучами, взятыми у алмаза; пусть в его блеске ослепительно-чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвеивать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленною в Атлантиде”. Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказывала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором как условия обручения со мною и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно - это называется наивной поэтической душой. Часто такую душу обладают те юноши, которых, по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования, толпа презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм! Ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор, ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня и хочешь моим быть навеки. Прекрасная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем счастливо, соединившись, жить блаженною жизнью в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хорошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение и свою силу, так как в стонах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне внутрь, тогда как мой отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри Саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна, так как твой детски

чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели!

- О моя, моя Серпентина! - воскликнул студент Ансельм. - Как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить тебя вечно!

Тут поцелуй запылал на его устах; он очнулся как бы от глубокого сна; Серпентина исчезла, пробило шесть часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал; он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и - о, чудо! - копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и, пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце - любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпою на голове и палкой в руках; он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал:

- Так я и думал! Ну, вот ваш специес-галер, господин Ансельм, теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням, - за мною! - Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум - пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд сожалел, что не взял с собою огнива, но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул:

- Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно! - И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки.

- Смотрите, какой химический фокус! - сказал регистратор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре. В Линковых купальнях регистратор Геербранд - вообще человек добродушный и спокойный - выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью: друг ли он ему или нет? - пока наконец не был уведен домой студентом Ансельмом, после того как архивариус Линдгорст уже давно ушел.

## ВИГИЛИЯ ДЕВЯТАЯ

Как студент Ансельм несколько образумился. - Компания за пуншем. - Как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился. - Чернильное пятно и его следствия.

Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и, краснея, признается, как сердечно она его любит и как все помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно налетающая на него сила неудержимо тянула его к забытой Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хотела, как будто он

был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидел Серпентину в образе прелестной девы и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандра с зеленою змеею, - как раз в следующую за тем ночь Вероника живее, чем когда-либо, явилась его глазам.

Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражениях глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим, сверх того, повергнуть его в несчастье и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо; он никак не мог изгнать ее из мыслей; это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила увлекла его к Пирнаским воротам, и только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал:

- Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! Amice![\*] Amice! Где это вы пропадаете, скажите, ради бога? Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!

[\* Друг! (лат.)]

Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил:

- Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду тебе господина Ансельма!

Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и, когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости, он ударился об стол и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему, через его плечо стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба; мысли, образы мелькали и исчезали - архивариус Линдгорст - Серпентина - зеленая змея, - потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и определилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленою змеею была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого, сверх того, так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра.

- Да, да, это Вероника! - воскликнул он громко и, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием.

Глухое "ах"! вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе. "О я счастливец! - вздохнул восхищенный студент. - То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности".

- И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником?  
- спросила Вероника.

- Всеконечно, - отвечал студент Ансельм. Тут заскрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами:

- Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу, вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистратор Геербранд.

- Ах, добрейший господин конректор, - возразил студент Ансельм, - разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдгорсту списывать?

- Смотрите-ка, - сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого.

Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Линдгорсту, и тем охотнее уступил желанию конкретора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться не одного ласкового взгляда, брошенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а, может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится ото всех фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Геербранд действительно явился после обеда, и, когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму - так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, - будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер.

- Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор, - воскликнул конректор Паульман; и вот регистратор Геербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшем, как фосфор; он видел лазурную комнату, золотые пальмы; он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпентину, - внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. "Серпентина, Вероника!" - вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Геербранд воскликнул очень громко:

- Чудной, непонятный старик этот архивариус Линдгорст. Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!

Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Геербрандом, сказал:

- Это происходит оттого, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея.

- Что? Как? - спросил конректор Паульман.

- Да, - продолжал студент Ансельм, - поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь в Дрездене со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены.

- Господин Ансельм, господин Ансельм! - воскликнул конректор Паульман.

- У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?

- Он прав, - вступился регистратор Геербранд, - этот архивариус в самом деле проклятый Саламандр; он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки. Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг! - И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.

- Регистратор, вы взбесились, - закричал рассерженный конректор. - Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?

- Ах, - сказал студент, - ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.

- Что? Я птица филин, завиваю тупеи? - закричал конректор вне себя от гнева. - Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!

- Но старуха еще сядет ему на шею, - воскликнул регистратор Геербранд.

- Да, старуха сильна, - вступился студент Ансельм, - несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша - скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям - ядовитым канальям, которыми она окружена.

- Это гнусная клевета, - воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. - Старая Лиза - мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее cousin germain[\*].

[\* Двоюродный брат (фр.).]

- Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнувши жалким образом? - вопрошал регистратор Геербранд.

- Нет, нет! - кричал студент Ансельм. - Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза Серпентины.

- А кот их выцарапает, - воскликнула Вероника.

- Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех! - вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. - Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел. - С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкавши, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.

Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом. "Vivat[\*] Саламандр! Pereat[\*\*], pereat старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка, со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!" Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала па диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.

[\* Да здравствует (лат.).]

[\*\* Да сгинет (лат.).]

- Доброго вечера, доброго вечера, - заскрипел забавный человечек. - Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить

обычного часа. - И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате; Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью, но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста. “Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг!” - прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно. “Ей одной, - говорил он сам себе, - обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив”. Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках - герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и спросил:

- Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?

- Ах, вам, конечно, попугай... - отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.

- Э, я и сам был в компании, - возразил архивариус, - разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конкретора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-галер, так как вы до сих пор хорошо работали.

“Как это архивариус может плести такой вздор?” - сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и - о, небо! - большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурей, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая

пары, так что пламенные массы с шумом закружились вокруг Ансельма. Золотые стволы палм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. “Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!” - так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердую ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стучался при малейшем усилии - поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.

## ВИГИЛИЯ ДЕСЯТАЯ

Страдания студента Ансельма в склянке. - Счастливая жизнь ученика и писцов. - Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. - Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случилось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма; если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, - ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме, но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: “О Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!” И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облегчили склянку, словно зеленые прозрачные листья бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. “Не сам ли я виноват в своем бедствии, ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не

потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерял для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милая Серпентина!” - так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью; вдруг совсем около него кто-то сказал: “Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти lamentации выше всякой меры?” Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.

- Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастья, - воскликнул он, - как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевелиться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?

- Вы бредите, господин студиозус, - возразил один из учеников. - Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу; нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, “Gaudeamus igitur...” - и благодушествуем.

- Они совершенно правы, - вступился писец, - я тоже вдоволь снабжен специес-талерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.

- Но, любезнейшие господа, - сказал студент Ансельм, - разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?

Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: “Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!” - “Ах, - вздохнул студент, - они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость, но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет”. И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: “Ансельм, верь, люби, надейся!” И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастья, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое, противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, взглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:

- Эй, эй, сынок, будешь еще упрямитесь? Вот попал же под стекло!



Говорила вперед: попадешь ты под стекло!

- Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! - сказал студент Ансельм.

- Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!

- Ого, - возразила старуха, - какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжог мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе; достать тебя сама я не могу, но моя кума; крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.

- Оставь меня, чертово детище! - закричал студент Ансельм, полный гнева. - Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину, - я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!

Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:

- Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа! - Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услышал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай затрепал: "Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!" В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:

- В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!

Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился О стекло - резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.

- Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки - чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! - так закричал он.

Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: "Живо иди! Живо шипи!" - и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завывала от боли; но когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и

распадались в пепел. “Скорей сюда, сынок!” - закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: “Спасен, спасен!” Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели, и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов, старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и, когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал, но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. “Тей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!” - загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями мотались кругом в жестокой схватке кот и попугай; но наконец попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок - под ним лежала гадкая свекла.

- Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, - сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.

- Хорошо, любезный, - отвечал архивариус, - а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном; сегодня же вы получите, как маленькую *doiseur*[\*], шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.

[\* Знак внимания (фр.).]

- Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! - воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:

- Серпентина, Серпентина!

И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидел опять величественную, высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством.

- Апсельм, - сказал князь духов, - не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим тобою, виновно в твоём неверии. Ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив!

Молния прошла внутри Ансельма, трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо; его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате, - стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой, прелестной Серпентины.

ВИГИЛИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоисступления. - Как регистратор Геербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках. -

Признание Вероники. - Помолвка при дымящейся суповой миске.

- Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить головы и довести нас до таких излишеств? - так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками и посередине которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша.

Вчера, после того как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Геербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стучаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая Френцхен не уложила с великим трудом исступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Регистратор Геербранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал:

- Ах, дорогой конректор, не пунш, который mademoiselle Вероника приготовила превосходно, нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно mente captus?[\*] И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? “Один дурак плодит многих” - извините, это старая пословица; особенно когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, произвольно подражая всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае?

[\* Сумасшедший (лат.).]

- Что за вздор! - отвечал конректор. - Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом.

- Может быть! - сказал регистратор Геербранд. - Но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно; всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало.

- Это был я, - возразил конректор, - ибо я храплю весьма сильно.

- Может быть! - продолжал регистратор. - Но, конректор, конректор! не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил... Вы не знаете... О конректор, конректор! - Регистратор Геербранд вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом: - О конректор, конректор! - и быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку.

“Ансельма теперь и на порог к себе не пушу, - сказал конректор Паульман сам себе, - ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка; регистратор вот уже попался - я еще пока держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может наконец ворваться и начать свою игру. Итак, apace, Satanas![\*] Прочь, Ансельм!”

[\* Изыди, сатана! (лат.)]

Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась и всего охотнее оставалась одна. “И эта у Ансельма на душе, - со злобою сказал конректор, - хорошо, что он совсем не

показывается; я знаю, что он меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит”. Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко; у Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом:

- Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно заперт в стеклянной банке.

- Как? Что? - воскликнул конректор Паульман. - Ах, боже, боже! Вот и она уж бредит, как регистратор; скоро дойдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый, мерзкий Ансельм! - Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять: “Ну! ну!” - но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее:

- Нервные припадки, - само пройдет, на воздух - гулять, развлекаться - театр - “Воскресный ребенок”, “Сестры из Праги”, - пройдет!

“Никогда доктор не был таким красноречивым, - подумал конректор Паульман, - просто болтлив!” Прошло много дней, недель, месяцев; Ансельм исчез, но и регистратор Геербранд не показывался, как вдруг 4 февраля, ровно в двенадцать часов дня, он вошел в комнату конrektора Паульмана в новом, отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил:

- Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери mademoiselle Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце! Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и в веселии отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники; ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение *cum nomine et sigillo principis* [\*], каковой и храню в своем кармане.

[\* С именем и печатью государя (лат.).]

- Ах, ах! господин регистр... господин надворный советник Геербранд, хотел я сказать, - пробормотал конректор.

- Но только вы, почтеннейший конректор, - продолжал новопроизведенный надворный советник Геербранд, - только вы можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я втайне mademoiselle Веронику и могу похвалиться с ее стороны не одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Геербранд, прошу у вас руки вашей любезной дочери mademoiselle Вероники, с которою я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество.

Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул:

- Эй, эй, эй, господин регистр... господин надворный советник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я с своей стороны не имею ничего против; может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник? Знаем мы эти штуки!

В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Геербранд подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался па ее щеках, глаза загорелись живее, и она воскликнула:

- Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад!

- Как это возможно, - вступился надворный советник Геербранд, несколько сконфуженный и обиженный, - когда я только час тому назад купил это украшение в Замковой улице за презренные деньги?

Но Вероника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение Друга Геербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала:

- Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж, пусть так и будет! Я обещаю вам сердце и руку, но я должна вам сначала, - вам обоим: отцу и жениху, - открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе, я должна вам это сказать сейчас же, хотя бы остыл суп, который Френцхен, как я вижу, ставит на стол. - И, не дожидаясь ответа конrektора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала: - Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и когда регистратор Геербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он, и никто другой, будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые, враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекресток; она заклинала там адских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху; я слышала ее вопли, но помочь было нечем; когда попугай съел ее как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось. - Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон и, подавая то и другое надворному советнику Геербранду, продолжала: - Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала, бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локон сохраните на вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанических чар и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена.

- Ах, боже, боже! - воскликнул конректор Паульман, преисполненный скорби. - Она сумасшедшая, она сумасшедшая, она никогда не может быть надворной советницей, она сумасшедшая!

- Нисколько, - возразил надворный советник Геербранд, - мне известно, что mademoiselle Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, которая, по-видимому, есть не кто иная, как известная гадалщица от Озерных ворот, старуха Рауэрин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловредное действие, о чем мы читаем уже у древних, а что mademoiselle Вероника говорит о победе Саламандра и сочетании Ансельма с зеленой змеею - это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом.

- Считайте это за что хотите, любезный надворный советник, - сказала Вероника, - хоть за нелепый сон, пожалуй.

- Отнюдь нет, - возразил надворный советник Геербранд, - ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным безумным выходкам.

Конректор Паульман не мог долее удерживаться, его прорвало:

- Постойте, ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу или действует на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок; ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасения за потомство, - не наследовало бы оно родительского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам как жениху и невесте поцеловать друг друга.

Что и было тотчас же исполнено, и, прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геербранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме па Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали: "Что за божественная женщина надворная советница Геербранд!"

## ВИГИЛИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

Известие об имении, доставшемся студенту Ансельму как зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с Серпентиною. - Заключение.

Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестною Серпентиною, переселился в таинственное, чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я томился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассеянности; короче, я впал в то состояние студента Ансельма, которое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой -вигилии.

Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи (может быть, родственники, пожалуй, разные *cousins germains* убитой ведьмы) подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только свое "я" - бледное, утомленное и грустное, как регистратор Геербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгорста: "Ваше благородие, как я известился, вы описали в одиннадцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время - поэта Ансельма, и бьетесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать

что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моею дочерью в хорошенькое поместье, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в государственном совете спорный вопрос: может ли Саламандр под присягою и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как, по Габалису и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают доверия; хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного, для париков и фраков пагубного, воспламенения; несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. (Как хотел бы я и двух остальных также сбить с рук!) Поэтому, если вы хотите написать двенадцатую вигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите, и это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр Линдгорст, королевский тайный архивариус”.

Эта несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, - о чем я, обязавшись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель, - но он не принял этого так дурно, как я мог опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он, в сущности, согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей, потому что, может быть, западет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем, в день вознесения, поищет и найдет в кусте бузины. Несчастье же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Линдгорсту, который уже ждал меня на крыльце.

- А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений, идемте! - И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя. - Вот вам, - сказал он, - любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганнеса Крейсера. Это - зажженный арак, в который я бросил немножко сахара. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок, и в то время как вы будете сидеть и смотреть и писать, я, для собственного удовольствия и вместе с тем чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале.

- Как вам угодно, досточтимый господин архивариус, - возразил я, - но только, если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не...

- Не беспокойтесь, любезнейший! - воскликнул архивариус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в

пламени. Слегка отдувая пламя, я отведал напиток - он был превосходен!

С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издали возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда, по вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как бы с детской радостью кружится и свивается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу: "Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, наш аромат есть стремление любви, мы любим тебя, мы твои навсегда!" Золотые лучи горят в пламенных звуках: "Мы - огонь, зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть желание, и не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание!" Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья: "Приди к нам, счастливый возлюбленный! Огонь есть желание, но надежда - наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живет в груди твоей". Ручьи и источники плещут и брызжут: "Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому что ты нас понял". Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички: "Слушай нас, слушай нас! Мы - радость, блаженство, восторг любви!" Но с тихой тоскою смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы - сплетающимися акантовыми листьями, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительно испещренный мрамор ступеней... "Нет! - восклицает он в избытке восторга, - она уже недалеко!" И вот выходит в величавой красоте и прелести Сербентина изнутри храма; она несет золотой горшок, из которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах; так смотрит она на Ансельма и говорит: "Ах, возлюбленный! лилия раскрыла свою чашечку, высочайшее исполнилось, есть ли блаженство, подобное нашему?" Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания; лилия пылает пламенными лучами над его головою. И громче колышутся деревья и кусты; яснее и радостнее ликут источники; птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся; веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, на земле - празднуется праздник любви! Молнии сверкают в кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли; высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют, шелестя крылами, - это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взоры ли это? слова ли? пение ли? Но ясно звучит: "Сербентина! вера в тебя и любовь открыли мне сердце природы! Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота, из первобытной силы земной, еще прежде, чем Фосфор зажег мысль, - эта лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я, счастливец, познал высочайшее: я буду вечно любить тебя, о Сербентина! Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно!" [\*]

[\* Здесь кончается перевод В. С. Соловьева. Заключительные абзацы переведены А. В. Федоровым. - Ред.]



Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма живым, в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра, и дивом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе, и запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзила и стала терзать острая скорбь: “Ах, счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной Серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Атлантиде! А я, несчастный! Скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, окажусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества скудной жизни, и, словно густой туман, заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии”. Тут архивариус Линдгорст тихонько похлопал меня по плечу и сказал:

- Полно, полно, почтеннейший! Не жалуйтесь так! Разве сами вы не были только что в Атлантиде и разве не владеете, вы там, по крайней мере, порядочной мызой как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы

# Эрнст Теодор Амадей Гофман.

## Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленький оборотень. - Великая опасность, грозившая пасторскому носу. -  
Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея  
Розабельверде попала в приют для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащила на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко сетовать.

- Неужто, - жаловалась она, - неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побилло, и - дабы мера нашего горя была исполнена - бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уродец словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! - И тут несчастная принялась плакать и стелать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем и она, обессилев, заснула.

Бедная женщина по справедливости могла плакаться на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины, - теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, взглядевшись попристальнее, можно было приметить длинный острый нос, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, - что вместе с морщинистыми, совсем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альрауна.

И вот когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фрейлейн фон Розеншен - канонисса близлежащего приюта для благородных девиц - возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

- Праведное небо, - воскликнула она, - сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни

разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и не ложно употребить на то, чтоб отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и, чем больше перепадает ему, тем беднее он становится. Но я знаю - больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, по, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фрейлейн опустила на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фрейлейн за палец, но она сказала:

- Успокойся, успокойся, майский жучок! - и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и наконец крепко уснул. Тогда фрейлейн Розеншен осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.

Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

- Эге, - воскликнула она, - сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате - пора домой! - Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула:

- Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти локоны, когда б ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди сюда, поди, - лезь в корзину. - Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

- Мне неохота!

- Цахес, крошка Цахес! - не помня себя закричала женщина. - Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, то уж, верно, можешь и бегать? - Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим, золотокудрым трехлетним мальчуганом. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

- Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напиток!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

- Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький пригожий мальчик. Поистине это благословение божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! - И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось, вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Но фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, тарасила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

- Ах, дорогой господин пастор, - наконец завела она плаксивым голосом, - вам, служителю бога, грех насмеяться над бедной, злосчастной женщиной, которую неведомо за что покарали небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

- Что за вздор, - с большой серьезностью возразил священник, - что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! "Насмеяться", "оборотень", "кара небес"! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! - Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: "Мне неохота!" - и опять норовил ухватить его за нос.

- Вот злая тварь! - вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

- Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что верно, все они тебя сердечно любят!

- Послушайте только, - воскликнул пастор, засверкав глазами от радости, - послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он для вас только обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

- Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького урода, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень!

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. "Что же это, господи, - рассуждала она сама с собой, - стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну, да поможет бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним - и тяжкая забота!"

И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспечно пошла своим путем.

Что же касается канониссы фон Розеншен или, как она еще называла себя, Розенгрюншен, то ты, благосклонный читатель, - когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени помолчать, - все же бы догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял, как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канониссе; поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме.

Фрейлейн фон Розеншен была высокого роста, наделена благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной странной складке между бровей, относительно чего толком не известно, дозвоительно ли канониссам носить на челе нечто подобное; но притом часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом утешиться ее дивной красотой, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаружилось родство фрейлейн Розеншен с цветами, имя коих она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший, колючий пруттик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фрейлейн громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно исходившими

из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, не виданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фрейлейн фон Розеншен поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншен в “Книге турниров” Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная небом, по крайности, называть себя не Розенгрюншен, а Розеншен, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, разобиженный Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фрейлейн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обинуясь, уверяла, что всякий раз, когда фрейлейн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фрейлейн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фрейлейн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насыпать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказях пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фрейлейн носилась по воздуху на помеле, а впереди ее летел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а деревенский суд порешил ни много ни мало, как выманить фрейлейн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: “Так-то вот и бывает с простыми людьми, без предков, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейн”. Фрейлейн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные приютские девицы, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фрейлейн Розеншен ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фрейлейн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон - как для деревни, так и для фрейлейн Розеншен.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншен не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейн и где обитала фрейлейн фон Розеншен, - одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь рассказать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась - а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, - дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремени жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны.

Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особенно в лесах, частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий плененный восторгом и блаженством вполне уверовал во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследовал юный Пафнутий.

Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды. “Я хочу править, любезный!” - крикнул ему Пафнутий. Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:

- Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного злосчастного народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и, рыдая, молвил:

- Министр Андрес, я обязан тебе шестью дукатами, - более того - моим счастьем, моим государством, о верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

- Преславный государь, - воскликнул меж тем Андрес, - преславный государь, так дело не делается!

- А как же оно делается, любезный? - спросил Пафнутий, ухватил министра за петлицу и повлек его в кабинет, замкнув за собою двери.

- Видите ли, - начал Андрес, усевшись на маленьком табурете насупротив своего князя, - видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои, хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваемы благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу, - прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали “Тысяча и одну ночь”, ибо, я знаю, ваш светлейший, блаженной памяти господин папаша - да ниспослет ему небо нерушимый сон в могиле! - любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

- Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи - здесь, в моей стране! - восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

- Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель, - продолжал Андрес, - мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаша, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле - чудесах - и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные,

противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспощинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, - всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по "Тысяча и одной ночи".

- А ходит туда почта, Андрес? - справился князь.

- Пока что нет, - отвечал Андрес, - но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

- Однако, Андрес, - продолжал князь, - не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропчет ли полоненный ими народ?

- И на сей случай, - сказал Андрес, - и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак, - пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корм в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением.

Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили.

На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем.

Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде, за несколько часов до того как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.

Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не печалются обо всем том имуществе, которое они принуждены оставить.

- В конце концов, - сказал, прогневавшись, Пафнутий, - в конце концов выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвести.

Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране.

Они оба согласились на том, что Джиннистан - прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе.

Пафнутий почувствовал себя успокоенным.

Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена и в близлежащей деревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андресом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштюками, которые она утаила от полиции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и самом лучшем по

всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять по своему усмотрению.

Фея Розабельверде приняла предложение и, таким образом, попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фрейлейн фон Розенгрюншен, а потом, по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна, фрейлейн фон Розеншен.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

О неизвестном народе, что открыл ученый Птоломей Филадельфус во время своего путешествия. - Университет в Керепесе. - Как в голову студента Фабиана полетели ботфорты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Бальтазара на чашку чая.

В приятельских письмах, которые прославленный ученый Птоломей Филадельфус, будучи в далеком путешествии, писал другу своему Руфину, находится следующее замечательное место:

“Ты знаешь, любезный Руфин, что я ничего на свете так не боюсь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои скупают все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно тщуся уловить умственным взором что-либо отчетливое. Оттого я имею обыкновение в эту жаркую пору отдыхать днем, а ночью продолжаю свое странствование. Так и прошедшей ночью я был в пути. В непроглядной тьме мой возница сбился с настоящей удобной дороги и нечаянно выехал на шоссе. Несмотря на то что жестокие толчки бросали меня из стороны в сторону и покрытая шишками голова моя была весьма схожа с мешком грецких орехов, я пробудился от глубокого сна не раньше, чем когда ужасный толчок выбросил меня из кареты на жесткую землю. Солнце ярко светило мне в лицо, а за шлагбаумом, что был прямо передо мною, я увидел высокие башни большого города. Возница горько сетовал, что о большой камень, лежавший посреди дороги, разбилось не только дышло, но и заднее колесо кареты, и, казалось, весьма мало, а то и вовсе не печалился обо мне. Я, как и подобает мудрецу, сдержал свой гнев и лишь с кротостью крикнул парню, что он, проклятый бездельник, мог бы взять в толк, что Птоломей Филадельфус, прославленный ученый своего времени, сидит на задн..., и оставить дышло дышлом, а колесо колесом. Тебе, любезный Руфин, известно, какой властью над человеческими сердцами я обладаю. И вот возница во мгновение ока перестал сетовать и с помощью шоссевого сборщика, перед домиком которого стряслась беда, поставил меня на ноги. По счастью, я нигде особенно не зашибся и был в силах тихонечко побрести дальше, меж тем как возница с трудом тащил за мной поломанную карету. Неподалеку от ворот завиденного мною в синеватой дали города мне повстречалось множество людей столь диковинного обличья и в столь странных одеждах, что я принялся тереть глаза, дабы удостовериться, впрямь ли я бодрствую, или, быть может, сумбурный дразнящий сон перенес меня в неведомую сказочную страну. Эти люди, коих я по праву мог считать жителями города, из ворот которого они выходили, носили длинные, широченные штаны, на манер японских, из драгоценнейших тканей - бархата, Манчестера, тонкого сукна, а то и холста, пестро расшитого галунами, красивыми лентами и шнурками, и куцые, едва прикрывающие живот детские курточки, по большей части светлых тонов; только немногие были в черном. Нечесанные волосы в естественном беспорядке спадали на плечи и спину, а на голове у каждого была нахлобучена маленькая странного вида шапочка. У иных шеи были совершенно открыты, как у турок и нынешних греков, другие, напротив, носили вокруг шеи и на груди куски белого полотна, довольно схожие с теми воротниками, что тебе, любезный Руфин, доводилось видеть на портретах наших предков. Несмотря на то что все эти люди казались весьма молодыми, голоса у них были низкие и грубые, движения отличались неловкостью; у некоторых под самым носом лежала узкая тень, словно бы от усов. У иных сзади из курточек торчали длинные трубки, на которых болтались большие шелковые кисти. Другие же повытаскивали трубки из карманов и приладили к ним снизу маленькие, средние, а то и весьма большие диковинной формы головки и с немалой ловкостью, поддувая сверху в тоненькую, все более сужающуюся на конце трубку, пускали искусные клубы дыма. Некоторые



держали в руках широкие сверкающие мечи, словно шли навстречу неприятелю; у иных были пристегнуты пряжками к спине или навешаны по бокам маленькие кожаные и жестяные коробочки.

Вообрази себе, любезный Руфин, как я, стремясь обогатить свои познания прилежным наблюдением всякого нового для меня феномена, остановился и вперил взор свой в этих странных людей. Тут они окружили меня, крича во все горло: “Филистер, филистер!” - и разразились ужаснейшим смехом. Это меня раздосадовало. Ибо, дражайший Руфин, может ли быть для великого ученого что-либо обиднее, чем сопричисление к народу, который за несколько тысяч лет перед тем был побит ослиной челюстью? Я взял себя в руки и с присущим мне достоинством громко объявил собравшемуся вокруг меня странному люду, что я, следует надеяться, нахожусь в цивилизованном государстве и потому обращусь в полицию и в суд, дабы отплатить за нанесенную мне обиду. Тут все они подняли рев; к тому же и те, что доселе еще не дымили, повытаскивали из карманов назначенные для того машины, и все принялись пускать мне в лицо густые клубы дыма, который, как я только теперь заметил, вонял совсем невыносимо и оглушал мои чувства. Затем они изрекли надо мной своего рода проклятие, столь мерзкое, что я, любезный Руфин, не хочу его тебе повторять. Я и сам вспоминаю о нем с невыразимым ужасом. Наконец они покинули меня с громким оскорбительным смехом, и мне почудилось, будто в воздухе замирает слово: “Арапник!” Возница мой, все слышавший и видевший, сказал, ломая руки:

- Ах, дорогой господин, коли уж произошло то, что случилось, то, бога ради, не входите в этот город. С вами, как говорится, ни одна собака знаться не будет, и вы будете в беспрестанной опасности подвергнуться побо...

Я не дал честному малому договорить и с возможной поспешностью обратил стопы свои к ближайшей деревне. В одинокой комнатухе единственного во всей деревеньке постоянного двора сижу и пишу все это тебе, дражайший Руфин! Насколько будет возможно, я соберу известия об этом неведомом варварском народе, населяющем здешний город. Мне уже порассказали кое-что весьма странное о его нравах, обычаях, языке и прочем, и я в точности сообщу тебе обо всем... и т. д. и т. д.”.

О мой любезный читатель, ты уже заметил, что можно быть великим ученым и не знать обыкновеннейших явлений и по поводу всему свету известных вещей предаваться диковинным мечтаньям. Птоломей Филадельфус упражнялся в науках и даже не знал о студентах, описывая своему другу происшествие, которое в голове его превратилось в редкостное приключение, он даже не знал, что находится в деревне Хох-Якобсхейм, расположенной, как известно, неподалеку от прославленного Керепесского университета. Добряк Птоломей перепугался, повстречавшись со студентами, которые радостно и беспечально прогуливались для собственного удовольствия за городом. Какой бы страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моша Терпина. Сотни студентов, хлынув из дома, окружили бы его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от этой суеты его ум смутили бы еще более диковинные мечтанья.

Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук: он объяснял, отчего происходят дождь, гром, молния, отчего солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштюки и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему неимоверное множество слушателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей Филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость, свести тебя в Керепес к дому профессора Моша Терпина как раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь стройного юношу лет двадцати трех или четырех; темные сверкающие глаза его красноречиво говорят о живом и ясном уме. Почти дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтательная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала, словно дымкой, жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого сукна, отделанный разрезным бархатом, был сшит почти что на старонемецкий лад, к чему весьма шел нарядный,

ослепительно-белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший его красивые темно-каштановые волосы.

Это одеяние потому так шло к нему, что он сам всем существом своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выражением лица, казалось, действительно принадлежал к прекрасному благочестивому стародавнему времени, а поэтому и не навел на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой читатель, не кто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и зажиточных родителей, юноша скромный, рассудительный, прилежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порассказать тебе в этой весьма примечательной истории.

Серьезен, по своему обыкновению, погружен в думы, шел Бальтазар с лекции Моша Терпина к городским воротам, собираясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу, находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его Фабиан, красивый малый, веселый с виду и такой же нравом, побежал за ним следом и настиг у самых ворот.

- Бальтазар! - громко закричал Фабиан. - Бальтазар, опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно меланхолическому филистеру, меж тем как добрые бурши прилежно упражняются в благородном искусстве фехтования. Прошу тебя, оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет оторопь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем переведаемся на рапирах, а если тебя потом потянет прогуляться, так я охотно пойду с тобой.

- Побуждения у тебя добрые, - возразил Бальтазар, - и потому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты, словно одержимый, гоняешься за мной по пятам и часто лишаешь меня наслаждений, о которых не имеешь никакого понятия. Ты как раз принадлежишь к тем странным людям, которые всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхоличным дурнем и хотят на свой лад его образумить и вылечить, подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить достойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, когда тот объявил, что не умеет играть на флейте. Правда, от этого, любезный Фабиан, я тебя избавлю, однако ж я тебя сердечно прошу - поищи себе другого товарища для благородных упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое.

- Нет, нет! - воскликнул со смехом Фабиан. - Так просто ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со мной в фехтовальную залу, так я отправлюсь с тобой в рощу. Долг верного друга - развеселить тебя в печали. Ну, идем, любезный Бальтазар, идем, коли уж ты ничего другого не желаешь. - Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро зашагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду, и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рассказывают что-нибудь веселое.

Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухающей рощи, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпеливыми вздохами, когда вдалеке зазвучали чудесные мелодии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в горах, - Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул:

- О, теперь мне снова хорошо, несказанно хорошо!

Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул, полон восторга:

- Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?

- Я не совсем понимаю тебя, любезный брат, - отвечал Фабиан, - но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно согласен. Разве я сам не охотник до прогулок, особливо в доброй компании, когда можно вести разумную и поучительную беседу? К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с нашим профессором Мошем Терпином. Он знает каждое растение, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому виду принадлежит, и притом он рассуждает о ветре и о погоде...

- Остановись, - вскричал Бальтазар, - прошу тебя, остановись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня не было некоторого утешения. Манера профессора

рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше сказать, меня охватывает злоеущий ужас, словно я вижу умалишенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и повелителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу, воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, дыхание которого обвеваает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия. Нередко меня берет охота переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда б меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, какие чувства тревожат меня, отчего сжимается мое сердце на лекциях Моша Терпина, - и тогда вам кажется, что я стал еще более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы обрушиться на мою голову, неопиcуемый страх гонит меня из города. Но здесь, здесь мою душу посещает сладостный покой. Лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредельную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом тянутся золотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного блаженной отрады! О Фабиан, тогда и в собственной моей груди рождается какой-то дивный гений, я внимаю, как он ведет таинственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья, и я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое существо сладостно-тоскливым трепетом.

- Ну вот, - воскликнул Фабиан, - ну вот опять ты завел старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лесных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи мне, мой превосходный меланхолик, ежели лекции Моша Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне, чего ради ты на них таскаешься, ни одной не пропустишь, хотя, правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший и, закрыв глаза, словно гредишь?

- Не спрашивай, - отвечал Бальтазар, потупив очи, - не спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет меня каждое утро к дому Моша Терпина. Я наперед знаю свои муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня!

- Ха-ха! - громко рассмеялся Фабиан, - ха-ха-ха! Как тонко, как поэтично, какая мистика! Неведомая сила, что влечет тебя к дому Моша Терпина, заключена в темно-голубых глазах прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошенькую дочку профессора, всем нам давно известно, а потому мы и извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те нелепые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава богу, покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей. Но поверь мне, душа моя...

Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую дорогу, пролежавшую через лес. Вдруг Фабиан заметил вдалеке мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока.

- Эй-эй! - воскликнул он, прерывая свою речь. - Эй, глянь, да, никак, проклятая кляча удрала, сбросив седока... Надобно ее поймать, а потом поискать в лесу и всадника. - С этими словами он стал посреди дороги.

Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле копошится и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана раздалось протяжное, пронзительное: "Тпру! Тпру!" - и в тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт и какой-то странный маленький черный предмет прокатился у него между ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею, обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке и наконец с трудом поднявшегося на ноги. Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоминал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожица... Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан разразился громким смехом. Но малыш досадливо надвинул на глаза берет, который только что поднял с земли, и, впери в Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом:

- Это ли дорога в Керепес?

- Да, сударь, - благожелательно и серьезно ответил Бальтазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело перекувыркивался

и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же заботливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие для него футляры. С гордым видом, уперши одну руку в бок, а другую приложив к берету, малыш воскликнул: “Gratias[\*], сударь!” - направился к лошади и взял ее под уздцы. Но все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и посадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону.

[\* Благодарствую (лат.).]

- Не горячитесь так, милейший мусье! - вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом.

- Черт - ваш милейший мусье! - вскричал, совсем озлившись, малыш, отряхивая песок с платья.

- Я студиозус, а если и вы тоже, то сие называется вызов - этот шутовской ваш смех мне в лицо, и вы должны завтра в Керепесе со мной драться!

- Черт побери, - не переставая смеяться, вскричал Фабиан, - черт подери, да это отчаянный бурш, малый хоть куда, раз дело коснулось отваги и правил чести! - С этими словами Фабиан поднял малыша и, невзирая на то что он отчаянно артачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с веселым ржаньем тотчас же умчалась, унося своего господина. Фабиан держался за бока - он помирал со смеху.

- Бессердечно, - сказал Бальтазар, - глумиться над человеком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника, обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним драться, и притом, хотя это и против всех академических обычаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспадроном он не может.

- Как сурово, - отозвался Фабиан, - как серьезно, как мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальтазар. Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством. Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую узехонькую курточку в обтяжку, со множеством шнурков, галунов и кистей, пристало ли ему носить такой затейливый бархатный берет? Пристало ли ему принимать столь высокомерный и надутый вид? Вымучивать такой варварский, сиплый голос? Пристало все это ему, спрашиваю я, и разве нельзя с полным правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая подымется там кутерьма! С тобой сегодня пива не сварю. Будь здоров! - И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город.

Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую чащу; там он присел на поросшую мохом кочку, горестные чувства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и взаправду любил прелестную Кандиду, но он схоронил эту любовь в своем сердце, скрывая ее от всех, даже от самого себя, как глубокую, нежную тайну. И когда Фабиан без обиняков с таким легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с изображения святой покрывало, которого он не смел коснуться, словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фабиана казались ему мерзким надругательством над всем его существом, над самыми сладостными его грезами.

- Итак, - воскликнул он в безмерной досаде, - итак, Фабиан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака, который таскается на лекции Моша Терпина, чтобы хоть часок провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой; который в одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще более жалкими; который губит деревья, вырезывая на гладкой коре глупые вензеля, а при возлюбленной и слова разумного вымолвить не может, только стонет, да вздыхает, да строит плаксивые гримасы, словно у него корчи; который у себя на груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда приколоты к ее платью, или перчатку, которую она обронила, - ну, словом, учиняет тысячи ребяческих дурачеств! И оттого, Фабиан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня на смех, и оттого, быть может, и я и весь тот внутренний мир, что открылся мне, сделались предметом насмешек. И прелестная, милая, дивная Кандида...

Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно пронзило огненным кинжалом. Ах! какой-то внутренний голос явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради Кандиды

бывает он в доме Моша Терпина, что он сочиняет стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он немеет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увядшие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан. Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрасную Кандиду и вместе с тем как причудливо чистейшая, сокровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, заложенной самой природой во все человеческие поступки. Должно быть, в том он был прав, но он был совсем неправ, что начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рассеялись, лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной. Он бросился назад в Керепес.

- Господин Бальтазар! Mon cher[\*] Бальтазар! - окликнул его кто-то.

[\* Дорогой мой (фр.)]

Он поднял глаза и остановился завороченный, ибо навстречу шел профессор Мош Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида, со свойственной ей веселой и дружественной простотой, приветствовала застывшего как истукан студента.

- Бальтазар, mon cher Бальтазар! - вскричал профессор. - По правде, вы самый усердный и приятный мне слушатель! О мой дорогой, я заметил, вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как и я, а я от нее без ума! Уж, верно, опять ботанизировали в нашей рощице? Удалось найти что-нибудь поучительное? Что ж! давайте познакомимся покороче. Посетите меня - рад видеть вас во всякое время, можем вместе делать опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же, mon cher, завтра вечером у меня дома состоится дружественный кружок, будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной особой. Вы познакомьтесь с весьма привлекательным молодым человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Bon soir, mon cher! Добрый вечер, любезнейший: au revoir! До свиданья. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, mon cher, adieu. - И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Терпин удалился вместе со своей дочерью.

Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но взоры Кандиды испепелили его грудь, он чувствовал ее дыхание, и сладостный трепет пронизывал все его существо.

Вся его досада прошла, полный восторга, смотрел он на удалявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листвой зеленой аллеи деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы предаться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как Фабиан не знал, что ему и сказать. Кандида и девицы, которым не дозволено есть рыбу. - Литературное чаепитие у Моша Терпина. - Юный принц.

Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он ошибся. Выйдя на опушку, он увидел, как вдалеке к малышу присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въезжали в ворота Керепеса. "Гм! - обратился Фабиан к самому себе, - хотя этот шелкунчик и обогнал меня на большой лошади, я все же поспею к заварушке, что подымется по его приезде. Ежели этот странный мальчик и в самом деле студиозус, то ему укажут на "Крылатого коня", а ежели он там остановится да с тем же пронзительным "тпру-тпру!" скинет ботфорты и сам слетит за ними, да озлится и взъерепенится, когда студенты покатаются со смеху, - ну, тут и пойдет потеха!"

Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к "Крылатому коню" он услышит только смех. Не тут-то было! Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собирающиеся, по обыкновению, на площади перед "Крылатым конем". Фабиан был уверен, что малыш, по крайней мере, здесь еще не появлялся, но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в конюшню ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать. Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не проезжал ли тут, часом, некий странный и весьма диковинный человек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не

знал, равно как и все остальные, кому только ни рассказывал Фабиан, что приключилось у него с малышом, который выдавал себя за студента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не объявлялось. Правда, минут за десять перед тем в гостиницу “Крылатый конь” прибыли два статных всадника на прекрасных лошадях.

- А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас провели на конюшню? - спросил Фабиан.

- Разумеется, - отвечал один из спрошенных, - разумеется. Тот, что прибыл на этой лошади, правда маловат ростом, однако хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он показал себя превосходным наездником, ибо спешился с такой ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер нашего князя.

- И не потерял ботфорт? - воскликнул Фабиан. - И не покатился вам под ноги?

- Сохрани бог! - отвечали все в один голос. - Сохрани бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш!

Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Бальтазар. Фабиан бросился к нему, потащил за собой и рассказал, что маленький карапуз, который повстречался им неподалеку от городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда, и все приняли его за красивого, статного мужчину и превосходного наездника.

- Вот видишь, - серьезно и рассудительно отвечал Бальтазар, - вот видишь, любезный брат, не все, подобно тебе, столь жестоко насмеваются над несчастным, обделенным самой природой!

- Ах, боже ты мой! - перебил его Фабиан. - Да ведь тут речь идет не о насмешке и жестокосердии, а о том, можно ли назвать красивым и статным мужчиной малыша в три фута ростом, к тому же не лишенного сходства с редькой?

Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана относительно роста и наружности маленького студента. Остальные стояли на том, что маленький всадник - красивый, стройный мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять, что им никогда не доводилось видеть более отвратительного карлика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озадаченные.

Давно смерклось, когда оба друга отправились домой. Вдруг Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался с профессором Мошем Терпином и тот пригласил его к себе на завтрашний вечер.

- Вот счастливцев! - вскричал Фабиан. - Вот расщастливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою красотку, прелестную мамзель Кандиду, будешь с нею разговаривать!

Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом поборов досаду, сказал:

- Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь меня безрассудным влюбленным шутком, я, пожалуй, и впрямь таков. Но это безрассудство - глубокая болезненная рана, томящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, может, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим дурачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то не произноси при мне имени Кандиды.

- Ты опять, - возразил Фабиан, - ты опять смотришь на вещи ужасно трагически, и в твоём состоянии от тебя иного и ожидать нельзя. Но, чтоб не заводить с тобой мерзкой распри, обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что, как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую досаду. Кандида - премиленькая, славная девушка, но она никак не подходит к меланхолическому, мечтательному складу твоей души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужденный, веселый нрав покажется тебе чуждым поэзии, которой тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаньям, и все кончится большим переполохом - ужасной воображаемой мукой и приличествующим сему отчаянием. Впрочем, я, равно как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, который займет нас весьма интересными физическими опытами. Ну! Спокойной ночи, удивительный мечтатель! Спи, ежели сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтрашний.

С этими словами Фабиан оставил своего друга, “погруженного в глубокую задумчивость. Фабиан, пожалуй, не без основания предвидел всякого рода патетические злоключения, которые могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому повод.

У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и чуть-чуть припухлые алые губы, и она - с этим принужден согласиться всякий - была писаная красавица. Я не припомню, белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные ее волосы, которые она умела так причудливо укладывать, заплетая в дивные косы, - мне лишь весьма памятна их странная особенность: чем дольше на них смотришь, тем темнее и темнее они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движениях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особенности когда ее окружало оживленное общество; при стольких прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше и поизящней. Притом Кандида прочла гетевского "Вильгельма Мейстера", стихотворения Шиллера и "Волшебное кольцо" Фюке и успела позабыть почти все, о чем там говорилось; весьма сносно играла на фортепьянах и даже иногда подпевала; танцевала новейшие гавоты и французские кадрили и почерком весьма разборчивым и тонким записывала белье, назначенное в стирку. А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубоватый голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много пирожного. Непомерно восторженным поэтам еще многое в прелестной Кандиде пришлось бы не по сердцу, но чего они только не требуют! Прежде всего они хотят, чтоб от всего, что они ни изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глубоко вздыхала, закатывала глаза, а иногда на короткое время падала в обморок или даже лишалась зрения, что являет собой уже высшую ступень женственнейшей женственности. Далее помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэтом, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после чего ей (то бишь девице) надлежит внезапно занемочь, и тоже начать писать стихи, однако весьма стыдиться, когда это выйдет наружу, невзирая на то что она сама, переписав их нежным почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем, никак нельзя вменить в вину. Есть на свете поэтические аскеты, которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить серьги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голодными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать себе в спутницы особу серьезную, бледную, унылую и несколько неопрятную.

Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кандиды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетавшие на легких, воздушных крыльях беззлобного юмора. Она покатывалась со смеху при всем, что ее смешило; она никогда не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной прогулке или, невзирая на все предосторожности, на новую шаль сядет пятно. Но, когда был для того подлинный повод, в ней проглядывало и глубокое, искреннее чувство, никогда не переходившее в пошлую чувствительность, и нам с тобой, любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девушка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело легко могло обернуться иначе. Однако мы вскорости увидим, насколько правильны были предсказания прозаического Фабиана.

То, что Бальтазар от непрестанного волнения, от несказанного сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к столу и сочинил изрядное число приятных, благозвучных стихов, описав собственное свое состояние в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти стихи на литературное чаепитие у Моша Терпина и, как только представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кандиды.

Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по уговору зашел за своим другом и застал его таким разряженным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый воротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во французских сапожках с высокими острыми каблуками и серебряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и наряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более что он прекрасно завил волосы и расчесал маленькие усики.

Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме Моша Терпина навстречу ему вышла

Кандида в полном одеянии древнегерманской девы; приветливость и веселость были в ее взоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. “Прелестная дева!” - испустил томный вздох Бальтазар, когда Кандида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымящегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами и молвила:

- Вот ром и мараскин, сухари и пумперникель, сделайте одолжение, любезный господин Бальтазар, берите, что вам угодно.

Но, вместо того чтобы взглянуть на ром и мараскин, сухари и пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Бальтазар не мог отвести взора, полного искренней любви и мучительного томления, от прелестной девы и тщился найти слова, которые должны были выразить все, что в это мгновение чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил профессор эстетики - дюжий, здоровенный мужчина - и, повернув его лицом к себе, так что Бальтазар расплескал больше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным голосом:

- Дражайший Лукас Кранах! Не хлещите презренную воду, вы вконец стугбите ваш германский желудок, - наш доблестный Мош выставил в той зале батарею прекрасных бутылок с благородным рейнвейном; сейчас мы с ними сразимся! - И он потащил за собой несчастного юношу.

Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку маленького, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош Терпин и громко возвестил:

- Милостивейшие государыни и милостивейшие государи, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, которому не составит труда снискать вашу приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Циннобер, только вчера прибыл в наш университет, где предполагает изучать право!

Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного карапуза, который наехал на них неподалеку от городских ворот и свалился с лошади.

- Неужто мне, - шепнул Фабиан Бальтазару, - неужто мне придется теперь вызвать этого альрауна драться на духовых дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить другое оружие против столь ужасного противника.

- Стыдись, - отвечал Бальтазар, - стыдись, ты глумишься над несчастным калекой, который, как ты слышал, одарен редчайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинствами. - Тут он обратился к малышу и сказал:

- Надеюсь, любезнейший господин Циннобер, вчерашнее ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?

Циннобер оперся на маленькую тросточку, которую держал за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришлось Бальтазару почти по пояс, запрокинул голову, уставившись на него дико сверкающими глазами, и странным, сиплым басом ответил:

- Не знаю, что вам угодно, сударь, о чем вы говорите? Упал с лошади? Я упал с лошади? Вам, верно, неизвестно, что во всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я, что я никогда не падал с лошади, что я служил волонтером в кирасирах, проделал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров и солдат. Гм! Гм! “Упал с лошади”! Я упал с лошади? - Тут он хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног Бальтазара. Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут малыш испустил пронзительный крик, отозвавшийся во всей зале, так что гости в испуге повскакали с мест. Бальтазара окружили и наперебой стали расспрашивать, чего это он, ради самого неба, закричал столь ужасно.

- Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар, - обратился к нему профессор Мош Терпин. - Все же это довольно странная шутка. Вы, верно, хотели, чтобы мы подумали, что здесь кто-то наступил на хвост кошке.

- Кошка, кошка! Уберите кошку! - завопила какая-то слабонервная дама и тотчас упала в обморок. С криками: “Кошка, кошка!” - бросились к выходу два престарелых господина, страдавших той же идиосинক্রазией.

Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упавшую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару:

- Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерзким пронзительным мяуканьем!

Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пылало от стыда и досады, он был не



в силах вымолвить ни единого слова, сказать, что ведь замыкал так ужасно не он, а маленький господин Циннобер.

Профессор Мош Терпин заметил тягостное замешательство юноши. Он подошел к нему и дружески сказал:

- Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, наконец! Я ведь отлично все видел.

Пригнувшись к земле, прыгая на четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злобному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной истории, но здесь, во время литературного чаепития...

- Позвольте, - сорвалось наконец с языка Бальтазара, - позвольте, почтеннейший господин профессор, так ведь то был не я!

- Ну, хорошо, хорошо! - перебил его профессор.

К ним подошла Кандида.

- Утешь, - обратился к ней Мош Терпин, - утешь, пожалуйста, любезнейшего Бальтазара, он совсем подавлен приключившейся тут сумятицей.

Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Бальтазара, который, потупив взор, стоял перед ней в совершенном замешательстве. Она протянула ему руку и, приветливо улыбаясь, прошептала:

- Какие, право, смешные бывают люди, что так боятся кошек.

Бальтазар с великой горячностью прижал руку Кандиды к губам. Исполненный чувства взор ее небесных очей покоился на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял более о Циннобере и кошачьем визге. Суматоха улеглась, спокойствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабонервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром и уверяя, что это подкрепляет ее душу, коей угрожают враждебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной надеждой.

Также два престарелых господина, которым на улице и в самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успокоенные и засели, равно как и многие другие, за карточный стол.

Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых людей подсели к дамам. Господин Циннобер тем временем пододвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где уселся между двумя дамами, обводя всех горделивым, сверкающим взором.

Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что, если бы он не боялся наскучить и причинить досаду, если бы он смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного собрания, он бы отважился прочитать стихи - последнее творение своей музы.

И так как дамы уже вдосталь наговорились обо всем, что случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим образом обсудили последний бал у президента и даже пришли к некоторому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а мужчины еще добрых два часа не могли рассчитывать на новое угощение и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Бальтазара не лишать общество столь божественного отдохновения.

Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и принялся читать.

Собственные стихи, со всей силой, со всей живостью возникшие из подлинного поэтического чувства, все сильнее воодушевляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнаруживая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, когда тихие вздохи, еле слышные "ах" женщин и восклицания мужчин: "Великолепно, превосходно, божественно!" - убеждали его в том, что стихи увлекли всех.

Наконец он кончил. Тут все вскричали:

- Какое творение! Сколько мысли! Сколько фантазии! Какие стихи! Какое благозвучие!

Благодарим, благодарим, любезный господин Циннобер, за божественное наслаждение!

- Как? Что? - вскричал Бальтазар, но на него никто не обратил внимания, - все устремились к Цинноберу, который, сидя на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел:

- Покорно благодарю, поклонно благодарю, не взывайте. Это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью.

Но профессор эстетики вопил:

- Дивный, божественный Циннобер! Сердечный друг, после меня ты - первый поэт на свете! Приди в мои объятия, прекрасная душа! - И он сгреб малыша с дивана, поднял его на воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Циннобер при этом вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножонками по толстому животу профессора и пищал:

- Пусти меня, пусти меня! Мне больно, больно, больно! Я выцарапаю тебе глаза, я прокушу тебе нос!

- Нет! - вскричал профессор, опуская малыша на диван. - Нет, милый друг, к чему такая чрезмерная скромность.

Мош Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним, пожал крошечную ручку Циннобера и сказал очень серьезно:

- Прекрасно, молодой человек, - отнюдь не преувеличивая, нет, мало нарасказали мне об одухотворяющем вас высоком гении.

- Кто из вас, - снова закричал в полном восторге профессор эстетики, - кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного Циннобера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство самой сильной любви?

Кандида встала, - щеки ее пылали, - она приблизилась к малышу, опустила на колени и поцеловала его мерзкий рот, прямо в синие губы.

- Да, - вскричал Бальтазар, словно пораженный внезапным безумием, - да, Циннобер, божественный Циннобер, ты сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты заслужил дивную награду, тобой полученную!

С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и проговорил:

- Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент Бальтазар, или нет, впрямь ли ты Фабиан, верно ли, что мы в доме Моша Терпина, - или это сон, или мы походили с ума? Потяни меня за нос или встряхни, чтоб я избавился от этого проклятого наваждения.

- Ну, как это ты можешь, - возразил Фабиан, - ну, как это ты можешь так бесноваться из простой ревности, оттого что Кандида поцеловала малыша. Тебе все же надобно признать, что стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле превосходно.

- Фабиан, - в глубочайшем изумлении вскричал Бальтазар, - что ты говоришь?

- В самом деле, - продолжал Фабиан, - в самом деле стихотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслужил поцелуй Кандиды. Вообще мне сдается, в нем кроется много такого, что дороже красивой наружности. Даже его фигура уже не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чтения стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица, так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юношей, невзирая на то что его голова чуть виднелась из-за стола. Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним как поэт с поэтом.

- Что? - вскричал в гневе Бальтазар. - Что? Мне еще подружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил бы вот этими руками!

- Итак, - сказал Фабиан, - итак, ты совсем глух к голосу разума. Однако ж возвратимся в залу: там, верно, случилось что-нибудь новое, я слышу громкие похвалы!

Бальтазар машинально последовал за своим другом.

Когда они вошли, посреди залы одиноко стоял Мош Терпин, в руках у него еще были инструменты, с помощью которых он, по-видимому, производил какой-то физический опыт; лицо его хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг маленького Циннобера. Опершись на трость, он стоял на цыпочках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех сторон. Но вот все опять обратилось к профессору, который показывал новый весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все снова окружили малыша, восклицая:

- Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всех завопил:

- Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в университете. Принц был наделен приятнейшей внешностью, какую только можно себе представить, и притом в его обращении было столько благородства и непринужденности, что явственно сказывалось и высокое происхождение, и привычка вращаться в высшем свете.

Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Циннобера и расточал ему непомерные похвалы как превосходнейшему поэту и искуснейшему физику.

Странное зрелище являли они друг подле друга.

Рядом со статным Грегором совсем диковинным казался этот крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва держался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напоминая этим картезианского чертика.

Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал:

- Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном Циннобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано обстоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но поглядите только на его достойную осанку, на его благородное, непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской крови, быть может, даже принц.

В эту минуту доложили, что готов ужин. Циннобер, неуклюже ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и повел к столу.

Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бежал несчастный Бальтазар домой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господина Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в министерство иностранных дел. - О таможенных чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего обихода. - Бальтазар заколдован с помощью набалдашника.

На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и задумчиво смотрел вниз в расселину, где ручей, пенясь, бурлил меж обломков скал и густых зарослей. Темные тучи неслись по небу и скрывались за горами; шум воды и деревьев раздавался как глухой стон, к нему примешивались пронзительные крики хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные просторы и летели вслед убегающим облакам.

Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных голосах слышится безутешная жалоба природы, словно сам он должен раствориться в этой жалобе, словно все бытие его - только чувство глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрывалось от скорби, и когда частые слезы застилали его глаза, чудилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохладную глубину.

Вдруг вдалеке послышались веселые, звонкие звуки рожка; они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся вокруг, и, пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов столь жалобными. Он обрел дар речи.

- Нет! - воскликнул он, вскочив на ноги и устремив сверкающий взор вдаль; - нет, не вся надежда исчезла! Верно только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нарушили мою жизнь, но я сломя эти чары, даже если мне придется погибнуть! Когда я, увлеченный, побежденный чувством, от которого готова была разорваться моя грудь, признался прелестной, несравненной Кандиде в моей любви, разве не прочел я в ее взоре, разве не почувствовал в пожатии ее руки свое блаженство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого выродка, устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырываются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней или берет ее руку. Тут, должно быть, скрыто какое-то таинственное обстоятельство, и, если бы я верил нянюшкиным сказкам, я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство - все смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным самой природой, а стоит малышу появиться, - все начинают превозносить его как умнейшего, ученейшего, наикрасивейшего господина студента среди всех присутствующих. Да что я говорю! Разве со мной подчас не происходит почти

то же самое, разве не кажется мне порой, что Циннобер и красив и разумен? Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и господин Циннобер остается глупым мерзким уродцем. Но что бы там ни было, я воспротивился вражьей силе, в моей душе дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья!

Бальтазар отправился назад в Керепес. Бредя по лесной тропинке, заметил он на проезжей дороге маленькую, нагруженную кладью повозку, из оной кто-то приветливо махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал господина Винченцо Сбьокка, всесветно прославленного скрипача-виртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превосходную, выразительную игру и у кого он уже два года, как брал уроки.

- Вот хорошо! - вскричал Сбьокка, выскочив из повозки. - Вот хорошо, любезный господин Бальтазар, мой дорогой друг и ученик, что я еще повстречал вас и могу сердечно проститься с вами.

- Как? - удивился Бальтазар. - Как, господин Сбьокка, неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают и где всем вас будет недоставать?

- Да, - отвечал Сбьокка, и вся кровь бросилась ему в лицо от скрытого гнева, - да, господин Бальтазар, я покидаю город, где все спятили, город, который подобен дому умалишенных. Вчера вы не были в моем концерте, вы прогуливались за городом, а то бы вы помогли мне защититься от беснующейся толпы, что набросилась на меня.

- Да что же случилось? Скажите, бога ради, что случилось? - вскричал Бальтазар.

- Я играю, - продолжал Сбьокка, - труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю, и еще ни разу не случалось, чтоб он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа - *anima*, разумею я, весел сердцем - *spirito alato*, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания - *figore*, разумею я, чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кричат: "Bravo, bravissimo, божественный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!" Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит: "Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света". - "Тысяча чертей! - воскликнул я. - Кто же наконец играл: я или тот червяк!" И так как малыш все еще гнусавил: "Покорно благодарю, покорно благодарю", - я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: "А какая композиция!" И все наперебой начинают кричать: "Какая композиция!" Божественный Циннобер! Вдохновенный композитор!" С еще большей досадой я вскричал: "Неужто здесь все походили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я, я - прославленный скрипач Винченцо Сбьокка!" Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве - *gabbia*, разумею я, о странных случаях, наконец силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегает синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: "Bravo, bravissimo, Циннобер!" И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он опять загнусавил свое проклятое "благодарю". Синьора Брагацци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин Бальтазар'. Если доведется вам увидеть синьорину Циннобера, то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас, - пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии сколько душе угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар, да смотрите не оставляйте скрипку! - С этими словами господин Винченцо Сбьокка обнял оцепеневшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила.

"Ну, разве не был я прав, - рассуждал сам с собою Бальтазар, - ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей порчу".

В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой человек, бледный, расстроенный, - безумие и отчаяние написано было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему

показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов двадцать-тридцать, он завидел референдария Пульхера, который стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил:

- Нет! Нельзя долее сносить этот позор! Надежды всей жизни пропали! Осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир, надежда, любимая!

И с этими словами впавший в отчаяние референдарий выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу.

Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдарию, вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону и воскликнул:

- Пульхер, ради бога, что с тобой, что ты делаешь?

Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полубеспамятстве опустил он на траву. Бальтазар подсел к нему и стал говорить различные утешительные слова, какие только приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния Пульхера.

Бессчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли о самоубийстве? Наконец Пульхер тяжело вздохнул и заговорил:

- Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспедитора в министерстве иностранных дел; ты знаешь, с каким усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности. Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал, заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверенностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию! В зале я заметил маленького уродливого человека, который тебе хорошо известен под именем господина Циннобера. Советник, которому было поручено произвести испытание, приветливо подошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую желаю получить я, ищет заступить также господин Циннобер, потому он будет экзаменовывать нас обоих. Затем он шепнул мне на ухо: "Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего соперника; работы, которые представил маленький Циннобер, из рук вон плохи". Испытание началось; я ответил на все вопросы советника. Циннобер ничего не знал, ровным счетом ничего, вместо ответа он сипел и квакал и нес какую-то невнятную околесицу, которую никто не мог разобрать, и так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал с высокого стула, так что мне приходилось его поднимать и сажать на место. Сердце мое трепетало от радости; благосклонные взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за самую едкую иронию. Испытание окончилось. Но кто опишет мой ужас! Словно внезапная молния повергла меня наземь, когда советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: "Чудеснейший человек! Какие познания! Какой ум! Какая проницательность! - И потом ко мне: - Вы жестоко обманули меня, господин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете. И, не в обиду вам будь сказано, во время экзамена вы хотели придать себе бодрости весьма недостойным образом и против всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все время падали, а господин Циннобер был принужден поднимать вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассудительны. Adieu, господин референдарий". Я все еще полагал, что меня морочат. Я решил пойти к министру. Он велел мне передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким образом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посещением, - ему уже обо всем известно! Должность, которой я добивался, уже отдана господину Цинноберу! Итак, какая-то адская сила похитила у меня все надежды, и я хочу добровольно принести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного рока! Оставь меня!

- Ни за что! - вскричал Бальтазар. - Сперва выслушай меня.

И он рассказал все, что знал о Циннобере, начиная с его первого появления у ворот Керепеса; что произошло с ним и с малышом в доме Моша Терпина и что только сейчас поведал Винченцо Сбьокка.

- Несомненно лишь, - добавил Бальтазар, - что во всех проделках этого окаянного уroda скрыто что-то таинственное, и поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться. Победа несомненна там, где есть мужество. А посему не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай сообща ополчимся на этого ведьменьша.

- Ведьменьш! - с жаром вскричал референдарий. - Да, ведьменьш! Что этот карлик - проклятый

ведьменьш, - это несомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами, неужто мы грезим? Колдовство, волшебные чары, - да разве с этим давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь Пафнутий Великий не ввел просвещение и не изгнал из нашей страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое, а эта проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным приставам. Но нет, нет, только людское безумие или, как я опасаюсь, неслыханный подкуп - причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: "Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканят!"

- Полно, - возразил Бальтазар, - полно, друг референдарий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то другое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена, причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет прочесть эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам - чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство!

- Ты в горячечном бреду! - вскричал Пульхер; но Бальтазар, не обращая на него внимания, простер руки вперед, словно охваченный пламенным томлением.

- Вслушайся, - воскликнул он, - вслушайся только, референдарий, какая небесная музыка заключена в ропоте вечернего ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им нежными голосами?

Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о которой говорил Бальтазар.

- И впрямь, - сказал он, - и впрямь по лесу несутся прекраснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне слышать, они глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний ветер, не кусты и не цветы, скорее, сдастся мне, кто-то вдалеке играет на колокольчиках стеклянной гармоники.

Пульхер был прав. Действительно, полные, все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоники, но только неслыханной величины и силы, а когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как вкопанные.

В небольшом отдалении по лесу медленно ехал человек, одетый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя, два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки стеклянной гармоники, которую друзья слышали издали. Два белоснежных единорога в золотой упряжи везли карету; на месте кучера сидел серебристый китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках поместился преогромный золотой жук, который помахивал мерцающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удивительного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с друзьями, он приветливо им кивнул. В то же мгновение из сверкающего набалдашника, большой трости, что он держал в руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глухое "ах" слетело с его уст.

Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще приветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась в глухой чаще и только слышались еще нежные звуки гармоники, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился к своему другу на шею и воскликнул:

- Референдарий, мы спасены! Вот кто разрушит проклятые чары маленького Циннобера.

- Не знаю, - промолвил Пульхер, - не знаю, что со мною сейчас творится, во сне это все или наяву,

но нет сомнения, что какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо и мою душу вновь посетили утешение и надежда.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Как князь Барсануф завтракал лейпцигскими жаворонками и данцигской золотой водкой, как на его кашемировых панталонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного секретаря Циннобера в должность тайного советника по особым

делам. - Книжка с картинками доктора Проспера Альпануса. - Как некий привратник укусил за палец студента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был за то осмеян. - Бегство Бальтазара.

Незачем долее скрывать, что министром иностранных дел, у коего господин Циннобер заступил должность тайного экспедитора, был потомок того самого барона Претекстатуса фон Мондшейна, который тщетно искал родословную феи Розабельверде в хрониках и турнирных книгах. Он, как и его предок, прозывался Претекстатус фон Мондшейн и отличался превосходнейшим образованием и приятнейшими манерами, никогда не путал падежей, писал свое имя французскими буквами, вообще почерк имел разборчивый и даже подчас сам занимался делами, особливо в дурную погоду. Князь Барсануф, один из преемников великого Пафнутия, нежно любил своего министра, ибо у него на всякий вопрос был наготове ответ; в часы, назначенные для отдохновения, он играл с князем в кегли, знал толк в денежных операциях и бесподобно танцевал гавот.

Однажды случилось, что барон Претекстатус фон Мондшейн пригласил князя к себе на завтрак отведать лейпцигских жаворонков и выпить стаканчик данцигской золотой водки. Когда князь прибыл в дом Мондшейна, то в передней, среди многих достойных дипломатических персон, находился и маленький Циннобер, который, опершись на свою трость, сверкнул на него глазками и, уж больше не оборачиваясь к нему, засунул в рот жареного жаворонка, которого только что стащил со стола. Едва князь завидел малыша, как милостиво улыбнулся ему и сказал министру:

- Мондшейн! Кто этот пригожий и столь толковый человек? Это, верно, тот самый, что столь прекрасным слогом составляет и столь изящным почерком переписывает доклады, которые я с некоторого времени стал от вас получать?

- Конечно, благосклонный государь, - отвечал Мондшейн. - Судьба даровала мне умнейшего и искуснейшего чиновника в моей канцелярии. Его зовут Циннобер, и я наилучшим образом рекомендую этого прекрасного молодого человека вашей милости и благоволению, мой дорогой князь. Он у меня всего несколько дней.

- А потому-то, - сказал красивый молодой человек, приблизившись к ним, - а потому-то, если ваша светлость позволите мне заметить, мой маленький коллега не отправил еще ни одной бумаги. Донесения, коим выпало счастье быть благосклонно замеченными вами, светлейший князь, составлены мной.

- Что вам надо? - гневно обратился к нему князь.

Циннобер тем временем вплотную придвинулся к князю и, с аппетитом уплетая жаворонка, чавкал от жадности. Молодой человек, обратившийся к князю, действительно писал помянутые доклады, но...

- Что вам надобно? - вскричал князь. - Вы, надо полагать, и пера в руках не держали? И то, что вы возле меня едите жареных жаворонков, так что я, к величайшей моей досаде, уже примечаю жирное пятно на моих новых кашемировых панталонах, и притом вы так непристойно чавкаете, - да все это достаточно показывает вашу совершеннейшую неспособность к дипломатическому поприщу. Ступайте-ка подобру-поздорову домой и не показывайтесь мне больше на глаза, разве только достанете для моих кашемировых панталон надежное средство от пятен. Быть может, тогда я верну вам свою благосклонность. - Обратившись к Цинноберу, князь добавил: - Юноши, подобные вам, дорогой Циннобер, суть украшение отечества и заслуживают, чтоб их отличали. Вы - тайный советник по особым делам, мой любезный.

- Покорнейше благодарю, - просипел в ответ Циннобер, проглотив последний кусок и вытирая рот

обеими ручонками, - покорнейше благодарю, уж я-то с этим делом справлюсь как подобает.

- Бодрая самоуверенность, - сказал князь, возвышая голос, - бодрая самоуверенность проистекает от внутренней силы, коей должен обладать достойный государственный муж. - Изрекши сию сентенцию, князь выпил собственноручно поднесенный ему министром стаканчик данцигской золотой водки и нашел ее превосходной. Новый советник должен был сесть между князем и министром. Он поедал невероятное множество жаворонков и пил вперемешку малагу и золотую водку, сипел и бормотал что-то сквозь зубы, и так как его острый нос едва доставал края стола, то ему приходилось отчаянно работать руками и ногами.

Когда завтрак был окончен, князь и министр воскликнули в один голос:

- У нашего тайного советника английские манеры!

- У тебя, - сказал Фабиан другу своему Бальтазару, - у тебя такой радостный вид, твои глаза светятся каким-то особенным огнем. Ты счастлив? Ах, Бальтазар, быть может, тебе пригрезился дивный сон, но я принужден пробудить тебя, это долг друга.

- Что такое? Что случилось? - спросил, оторопев, Бальтазар.

- Да, - продолжал Фабиан, - да! Я должен открыть тебе все! Мужайся, мой друг! Подумай о том, что, быть может, нет на свете несчастья, которое не поражало бы так больно и не забывалось бы так легко! Кандида!..

- Ради бога! - вскричал в ужасе Бальтазар. - Кандида! Что с Кандидой? Ее уже нет на свете? Она умерла?

- Успокойся, - продолжал Фабиан, - успокойся, мой друг. Кандида не умерла, но для тебя все равно что умерла. Знай же, что малыш Циннобер стал тайным советником по особым делам и, как уверяют, почти что помолвлен с прекрасной Кандидой, которая, бог весть с чего, без памяти в него влюбилась.

Фабиан полагал, что Бальтазар разразится неистовыми, полными отчаяния жалобами и проклятиями. Но вместо того он сказал со спокойной улыбкой:

- Если все дело только в этом, то тут еще нет несчастья, которое могло бы меня опечалить.

- Так ты больше не любишь Кандиду? - в изумлении воскликнул Фабиан.

- Я люблю, - отвечал Бальтазар, - я люблю этого ангела, эту дивную девушку со всей мечтательностью, со всей страстью, какая только может воспламенить юношескую грудь. О, я знаю - ах! - я знаю, что Кандида тоже любит меня и только проклятые чары пленили ее, но скоро я порву эти колдовские путы, скоро я истреблю злодея, который ослепил бедняжку.

Тут Бальтазар поведал другу о повстречавшемся ему удивительном человеке, ехавшем по лесу в весьма странной повозке. И в заключение он сказал, что, как только из волшебного набалдашника сверкнул луч и коснулся его груди, в нем зародилась твердая уверенность; что Циннобер не кто иной, как ведьменьш, чью силу сокрушит этот незнакомец.

- Позволь, Бальтазар, - вскричал Фабиан, когда его друг кончил, - позволь, как это мог тебе прийти в голову такой диковинный вздор? Незнакомец, которого ты считаешь волшебником, ведь не кто иной, как доктор Проспер Альпанус, жительствующий в своем загородном доме неподалеку от Керепеса. Правда, о нем ходят удивительнейшие слухи, так что его можно принять чуть ли не за второго Калиостро; но в этом повинен сам доктор. Он любит окружать себя мистическим мраком, напускать на себя вид человека, который посвящен в сокровеннейшие тайны природы и повелевает неведомыми силами, и вдобавок ему свойственны весьма затейливые причуды. Например, его повозка устроена так, что человек, наделенный живой и пылкой фантазией, - подобно тебе, мой друг, - вполне может принять все это за явление из какой-нибудь сумасбродной сказки. Послушай только! Его кабриолет имеет форму раковины и весь посеребрен, а между колесами помещен органчик, который при вращении оси играет сам собой. Тот, кого ты принял за серебристого фазана, несомненно был его маленький жокей, одетый во все белое, а раскрытый зонтик показался тебе крыльями золотого жука. Он велит прикреплять на головы своих белых лошадей большие рога, чтобы они приобрели вид подлинно сказочный. Впрочем, у доктора Альпануса и вправду есть красивая испанская трость с дивно искрящимся кристаллом, прикрепленным сверху, подобно набалдашнику, об удивительном действии коего рассказывают или, вернее, сочиняют немало всяких



небылиц. Луч, исходящий из этого кристалла, будто бы невыносим для глаз. А когда доктор обернет его прозрачным покрывалом, то, пристально взглядевшись, увидишь в нем, как в вогнутом зеркале, ту особу, чей облик носишь в глубине души...

- В самом деле, - перебил Бальтазар своего друга. - Неужто так говорят? Ну, а что еще рассказывают о господине докторе Проспере Альпанусе?

- Ах, - отвечал Фабиан, - не требуй, чтобы я подробно пересказывал тебе все эти дурацкие побасенки и бредни. Ты ведь знаешь, что и посейчас еще есть сумасброды, которые, наперекор здравому смыслу, верят во все так называемые чудеса вздорных нянюшкиных сказок.

- Признаюсь, - сказал Бальтазар, - что я сам принужден пристать к этим сумасбродам, лишенным здравого смысла. Посеребренное дерево - это вовсе не сверкающий прозрачный хрусталь, а органчик звучит не как стеклянная гармоника, серебристый фазан - не жокей, а зонтик - не золотой жук. Или диковинный человек, которого я повстречал, не доктор Проспер Альпанус, о ком ты говоришь, или доктор и впрямь посвящен в сокровеннейшие тайны.

- Дабы совсем, - сказал Фабиан, - дабы совсем исцелить тебя от странных твоих грез, нет ничего лучше, как прямехонько свести тебя к доктору Альпанусу. Тогда ты воочию убедишься, что доктор Проспер Альпанус - обыкновеннейший лекарь и уж никоим образом не выезжает на прогулку на единорогах, с серебристыми фазанами и золотыми жуками.

- Ты высказал, - воскликнул Бальтазар, у которого засверкали глаза от радости, - ты высказал, мой друг, сокровеннейшее желание моей души. Давай немедля двинемся в путь.

Вскоре они уже стояли перед запертыми решетчатыми воротами парка, посреди которого расположился дом доктора Альпануса.

- Как же нам войти? - спросил Фабиан.

- Я полагаю, надо постучать, - ответил Бальтазар и взялся за металлическую колотушку, висевшую у самого замка.

Едва только он поднял колотушку, как под землей послышался какой-то рокот, похожий на дальний гром, который замер в бездонной глубине. Решетчатые ворота неторопливо повернулись на петлях, друзья вошли и направились по длинной широкой аллее, в конце которой они завидели сельский домик.

- Что ж, - спросил Фабиан, - замечаешь ли ты здесь что-нибудь необыкновенное, волшебное?

- Думается мне, - возразил Бальтазар, - что способ, каким отворились ворота, не так уж обычен, и потом, не знаю отчего, но здесь мне все кажется таким волшебным, таким магическим. Разве где-нибудь в окрестностях можно встретить столь дивные деревья, как в этом парке? И даже мнится, что иные деревья, иные кусты перенесены сюда из дальних, неведомых стран, - у них сверкающие стволы и смарагдовые листья.

Фабиан завидел двух необычайной величины лягушек, которые уже от самых ворот скакали следом за путниками по обеим сторонам аллеи.

- Нечего сказать, прекрасный парк, - вскричал Фабиан, - где водятся такие гады! - и нагнулся, чтобы поднять камешек, намереваясь метнуть им в этих веселых лягушек. Обе отпрыгнули в кусты и уставились на него блестящими человеческими глазами. - Погодите же, погодите! - закричал Фабиан, нацелился в одну из них и пустил камень.

- Невежа! С чего это он швыряет камнями в честных людей, которые в поте лица своего трудятся в саду ради хлеба насущного, - заквакала прегадкая маленькая старушонка, сидевшая у дороги.

- Идем, идем! - в ужасе забормотал Бальтазар, отлично видевший, как лягушка превратилась в старуху. Глянув в кусты, он убедился, что и другая лягушка стала маленьким старикашкой, который теперь усердно полонил траву.

Перед домом расстилалась прекрасная большая лужайка, на которой паслись оба единорога; в воздухе лились дивные аккорды.

- Видишь ли ты? Слышишь ли ты? - спросил Бальтазар.

- Я ничего не вижу, - отвечал Фабиан, - кроме двух маленьких пони, которые щиплют траву, а в воздухе, надо полагать, слышатся звуки развешанных где-нибудь золотых арф.

Простая благородная архитектура одноэтажного сельского домика, соразмерного в своих пропорциях, восхитила Бальтазара. Он потянул за шнурок звонка; дверь тотчас растворилась, и друзей в качестве привратника встретила высокая, похожая на страуса золотисто-желтая птица.

- Ты погляди, - обратился Фабиан к Бальтазару, - ты погляди только, какая дурацкая ливрея! Ежели захочешь дать этому парню на водку, то где же у него руки, чтобы сунуть монету в жилетный карман?

Он повернулся к страусу, ухватил его за блестящие мягкие перья, распустившиеся на шее под клювом подобно пышному жабо, и сказал:

- Доложи о нас, дражайший приятель, господину доктору.

Но страус ничего, кроме “квиррр”, не ответил и клюнул Фабиана в палец.

- Тьфу, черт! - вскричал Фабиан. - А паренек-то, пожалуй, и впрямь проклятая птица!

Тут отворилась дверь во внутренние покои, и сам доктор вышел навстречу друзьям: низенький, худенький, бледный человек! Маленькая бархатная шапочка покрывала его голову, красивые волосы струились длинными прядями. Длинный индийский хитон цвета охры и маленькие красные сапожки со шнурами, отороченные - трудно было разобрать чем: то ли пестрым мехом, то ли блестящим пухом какой-то птицы, - составляли его одеяние. Лицо отражало само спокойствие, само благоволение, только казалось странным, что когда станешь совсем близко и начнешь попристальнее в него вглядываться, то из этого лица, как из стеклянного футляра, словно выглядывало еще другое маленькое личико.

- Я увидел, - приветливо улыбаясь, заговорил тихим и несколько протяжным голосом Проспер Альпанус, - я увидел вас, господа, из окна. Правда, я и раньше знал, по крайней мере касательно вас, дорогой господин Бальтазар, что вы посетите меня. Прошу пожаловать за мной.

Проспер Альпанус провел их в высокую круглую комнату, всю затянутую небесно-голубыми занавесями. Свет проникал сверху через устроенное в куполе окно и падал прямо на стоящий посередине гладко отполированный мраморный стол, поддерживаемый сфинксом. Кроме этого, в комнате нельзя было приметить ничего необыкновенного.

- Чем могу служить? - спросил Проспер Альпанус.

Бальтазар, собравшись с духом, рассказал все, что случилось с маленьким Циннобером, начиная с его первого появления в Керепесе, и заключил с непоколебимой убежденностью, что Проспер Альпанус явится тем благодетельным магом, который положит конец негодному и мерзкому колдовству Циннобера.

Проспер Альпанус, погрузившись в глубокое раздумье, безмолвствовал. Наконец, по прошествии нескольких минут, он с серьезным видом и понизив голос заговорил:

- Судя по всему, что вы мне рассказали, Бальтазар, не подлежит сомнению, что в деле с маленьким Циннобером есть какое-то таинственное обстоятельство. Однако нужно знать врага, которого предстоит одолеть, знать причину, действие коей намереваешься разрушить. Можно предположить, что маленький Циннобер не кто иной, как альраун. Это мы сейчас узнаем.

С этими словами Проспер Альпанус потянул за один из шелковых шнурков, спускавшихся с потолка. Одна из занавесей с шумом распахнулась, и взору открылось множество преогромных фолиантов, сплошь в золоченых переплетах; изящная, воздушно легкая лесенка из кедрового дерева скатилась вниз. Проспер Альпанус поднялся по этой лесенке, достал с самой верхней полки фолиант и, заботливо смахнув с него пыль большой метелкой из блестящих павлиньих перьев, положил на мраморный стол.

- Этот трактат, - сказал он - посвящен альраунам, которые все тут изображены; быть может, вы найдете среди них и враждебного вам Циннобера, и тогда он в наших руках.

Когда Проспер Альпанус раскрыл книгу, друзья увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, представлявших наидиковеннейших преуродливых человечков с глупейшими харями, какие только можно себе вообразить. Но едва только Проспер прикоснулся к одному из этих человечков, изображенных на бумаге, как он ожил, выпрыгнул из листа на мраморный стол и начал преуморительно скакать и прыгать, прищелкивая пальчиками, выделявая кривыми ножками великолепнейшие пируэты и антраша и чирикая: “Квирр-квапп, пирр-папп”, - пока Проспер не схватил его за голову и не положил в книгу, где он тотчас сплюснулся и разгладился в пеструю картинку.

Таким способом пересмотрели в книге все изображения, и Бальтазар не раз готов был воскликнуть: “Вот он, вот Циннобер!” Но, всмотревшись хорошенько, принужден был, к своему огорчению, заметить, что человечек вовсе не Циннобер.

- Все же довольно странно, - сказал Проспер Альпанус, просмотрев книгу до конца. - Однако, - продолжал он, - быть может, Циннобер гном? Посмотрим.

И он с редким проворством снова взобрался по кедровой лесенке и достал другой фолиант, бережно смахнул с него пыль и положил на мраморный стол, объявив:

- Этот трактат посвящен гномам; быть может, мы изловим Циннобера в этой книге.

Друзья вновь увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, которые представляли отвратительное сборище безобразных коричнево-желтых чудовищ. И когда Проспер Альпанус прикасался к ним, они подымали плаксивые жалобные вопли и под конец тяжело выползали из листа и, ворча и кряхтя, копошились на мраморном столе, пока доктор не втискивал их назад в книгу.

Но и среди них не нашел Бальтазар Циннобера.

- Странно, весьма странно, - сказал доктор и погрузился в безмолвное раздумье.

- Королем жуков, - продолжал он некоторое время спустя, - королем жуков он не может быть, ибо тот, как мне доподлинно известно, как раз теперь занят в другом месте; маршалом пауков тоже нет, ибо маршал пауков, хотя и безобразен, но разумен и искусен, живет трудами рук своих и не приписывает себе чужие заслуги. Странно, очень странно!

Он опять помолчал, так что стали явственно доноситься различные диковинные голоса: то отдельные звуки, то мощные нарастающие аккорды, раздававшиеся вокруг.

- У вас тут отовсюду слышится премилая музыка, любезный господин доктор, - сказал Фабиан.

Проспер Альпанус, казалось, вовсе не замечал Фабиана, его взор был устремлен на одного Бальтазара, он простер к нему руки и слегка шевелил пальцами, словно кропил его незримой влагой.

Наконец доктор схватил Бальтазара за обе руки и сказал с приветливой серьезностью:

- Только чистейшее созвучие психического начала по закону дуализма благоприятствует операции, которую я сейчас предприму. Следуйте за мной!

Друзья прошли вслед за доктором несколько комнат, где, если не считать нескольких диковинных зверей, упражнявшихся в чтении, письме, живописи и танцах, ничего примечательного не было, пока наконец не распахнулись двустворчатые двери, и друзья остановились перед плотным занавесом, за которым исчез Проспер Альпанус, оставив их в совершенной темноте. Занавес, шурша, раздвинулся, и друзья очутились в овальной зале, где был рассеян магический полусвет. Глядя на стены, казалось, что взор теряется в необозримых зеленых рощах и в цветочных долах с журчащими ручьями и родниками. Таинственный аромат неведомых курений колыхался в комнате и, казалось, разносил сладостные звуки стеклянной гармоник. Проспер Альпанус явился одетый во все белое, подобно брамину, и водрузил посреди залы большое круглое хрустальное зеркало, на которое набросил покрывало.

- Приблизьтесь, - сказал он торжественно и глухо, - приблизьтесь к этому зеркалу, Бальтазар, устремите неотступно все ваши мысли к Кандиде, всей душой желайте, чтобы она предстала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в пространстве и времени.

Бальтазар поступил так, как ему было велено, а Проспер Альпанус, став позади него, обеими руками описывал большие круги.

Спустя несколько секунд из зеркала заструился голубоватый дым. Кандида, прекрасная Кандида явилась во всей прелести своего облика, во всей полноте жизни. Но рядом с ней, совсем подле нее, сидел мерзкий Циннобер и пожимал ее руки, и целовал ее. И Кандида одной рукой обнимала чудовище и ласкала его. Бальтазар готов был вскрикнуть, но Проспер Альпанус крепко схватил его за плечи, и крик замер у него в груди.

- Спокойней, - тихо сказал Проспер, - спокойней, Бальтазар. Возьмите эту трость и поколотите малыша, только не трогайтесь с места.

Бальтазар так и сделал и к удовольствию своему увидел, как малыш скорчился, свалился со стула и стал кататься по земле. В ярости Бальтазар бросился вперед, но видение растеклось в тумане и в дыме, а Проспер Альпанус с силой отдернул взбешенного Бальтазара, громко крикнув:

- Стойте! Ежели вы разобьете магическое зеркало - мы все пропали! Выйдем на свет!

Друзья, повинувшись приказанию доктора, покинули залу и вошли в соседнюю светлую комнату.

- Благодарение небу, - вскричал Фабиан, глубоко переводя дух, - благодарение небу, что мы выбрались из этой проклятой залы! Духота теснила мне сердце, и к тому же еще эти кунштюки, которые мне столь ненавистны.

Бальтазар собирался возразить, но тут вошел Проспер Альпанус.

- Теперь, - сказал он, - теперь нет сомнения, что уродливый Циннобер не альраун и не гном, а обыкновенный человек. Но тут замешана какая-то таинственная, колдовская сила, открыть которую мне покамест не удалось, и оттого я еще не могу помочь вам. Посетите меня вскорости, Бальтазар, тогда посмотрим, что надлежит предпринять. До свиданья!

- Итак, - сказал Фабиан, надвигаясь на доктора, - итак, вы волшебник, господин доктор, а не способны при всем вашем магическом искусстве отделать этого маленького, прежалкого Циннобера? Так знайте ж, что я считаю вас, со всеми вашими пестрыми картинками, куколками, . магическими зеркалами, со всем вашим фиглярским товаром, самым доподлинным шарлатаном. Бальтазар влюблен и кропает стихи, его вы можете уверить во всяком вздоре, но со мной у вас ничего не выйдет. Я - человек просвещенный и не допускаю никаких чудес!

- Думайте что вам угодно, - возразил Проспер Альпанус, рассмеявшись громче и веселей, чем можно было от него ожидать. - Но хоть я и не совсем волшебник, все же владею некоторыми прекрасными кунштюками.

- Из Виглебовой "Магии" или из какой другой? - вскричал Фабиан. - Ну, тут вам далеко до нашего профессора Моша Терпина, и вам даже нельзя с ним равняться, ибо он честный человек и всегда показывает нам, что все совершается естественным образом, и он вовсе не окружает себя таким таинственным скарбом, как вы, господин доктор. Ну, честь имею кланяться.

- Эге, - сказал доктор, - неужто вы расстанетесь со мной в таком гневе?

И с этими словами он несколько раз тихо погладил обе руки Фабиана, от плеча до кисти, так что тому стало как-то не по себе, и он в душевном стеснении воскликнул:

- Что это вы там делаете, господин доктор?

- Ступайте-ка, господа, - сказал доктор. - Вас, господин Бальтазар, я надеюсь вскорости опять увидеть. Помощь не замедлит прийти!

- На водку ты все же не получишь, приятель! - крикнул, уходя, Фабиан золотисто-желтому привратнику и потряс его за жабо. Но привратник опять ничего не ответил, кроме как "квирр", и снова клюнул Фабиана в палец.

- Вот тварь! - вскричал Фабиан и бросился бежать.

Обе лягушки не преминули учтиво проводить обоих друзей до решетчатых ворот, которые с глухим рокотом растворились и затворились.

- Я не знаю, - сказал Бальтазар, бредя по проезжей дороге позади Фабиана, - я не знаю, брат, что это тебе сегодня вздумалось надеть такой нелепый сюртук с такими невероятно длинными полами и такими куцыми рукавами.

Фабиан, к своему удивлению, заметил, что его коротенький сюртучок вытянулся сзади до самой земли, а рукава, прежде достаточно длинные, собрались сборками у локтей.

- Тысяча чертей, да что же это такое? - вскричал он и стал оттягивать и обдергивать рукава и расправлять плечи. Сперва это как будто помогло, но едва только друзья прошли городские ворота, как рукава опять полезли кверху сборками, а полы стали расти, так что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергивания и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч, выставляя напоказ голые руки Фабиана, а сзади волочился шлейф, который все более и более удлинялся. Все встречные останавливались и хохотали во всю глотку, уличные мальчишки с восторженным воем и ликованием толпами бежали за Фабианом, хватали и рвали его длинное облачение, так что Фабиан летел кувырком, а когда он вновь поднимался на ноги, то шлейф отнюдь не убывал, нет, - он делался все длиннее. И все бешеной и неистовой становился смех, ликование и крики, пока наконец Фабиан, едва не обезумев, кинулся опростетью в распахнутую дверь какого-то дома. Шлейф тотчас же исчез.

У Бальтазара не было времени особенно удивляться странному околдовыванию Фабиана, ибо референдарий Пульхер поймал его, затащил в безлюдный переулок и сказал:

- Да разве мыслимо, что ты еще здесь, что еще показываешься па людях, когда тебя уже разыскивает педель с приказом об аресте!

- Что такое? О чем ты говоришь? - спросил в изумлении Бальтазар.

- Так далеко, - продолжал референдарий, - так далеко увлекло тебя безумие ревности, что ты, нарушив неприкосновенность жилища, с враждебными намерениями ворвался в дом Моша Терпина, напал на Циннобера в присутствии его невесты и до полусмерти избил уродливого малыша.

- Помилуй, - вскричал Бальтазар, - да ведь я целый день не был в Керенесе! Какая постыдная ложь!

- Тише, тише, - перебил его Пульхер, - дурацкая и безрассудная выдумка Фабиана надеть платье со шлейфом спасет тебя. Теперь никто не обратит на тебя внимания! Скройся только от постыдного ареста, а уж остальное мы уладим. Тебе нельзя возвращаться домой. Дай мне ключ, я перешлю тебе все, что нужно. Скорей в Хох-Якобсхейм!

И, сказав это, референдарий потащил за собой Бальтазара глухими переулками за городские ворота, к деревне Хох-Якобсхейм, где прославленный ученый Птоломей Филадельфус писал достопримечательную книгу о неизвестном народе - студентах.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как Циннобер, тайный советник по особым делам, причесывался в своем саду и принимал росяную ванну. - Орден Зелено-пятнистого тигра. - Счастливая выдумка театрального портного. - Как фрейлейн фон Розеншен облилась кофе, а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе.

Профессор Мош Терпин утопал в блаженстве.

- Могло ли, - говорил он сам себе, - могло ли мне выпасть большее счастье, чем случай, приведший в мой дом достойнейшего тайного советника по особым делам еще студентом? Он женится на моей дочери, он станет моим зятем, через него я войду в милость к нашему славному князю Барсануфу и буду подниматься по лестнице, по которой взбирается мой превосходный крошка Циннобер. По правде, мне самому частенько непонятно, как это моя девочка, Кандида, без памяти влюбилась в малыша. Обыкновенно женщины обращают больше внимания на красивую внешность, нежели на редкие способности души, а я, часом, как погляжу на этого малыша по особым делам, то мне сдается, что его нельзя назвать слишком красивым, он даже - bossu[\*], но тише, тш-тш, - и у стен есть уши. Он любимец князя, он пойдет в гору, все выше и выше, и он - мой зять.

[\* Горбатый (фр.)]

Мош Терпин был прав. Кандида обнаруживала решительную склонность к малышу, и когда иной раз кто-нибудь, не подпавший действию диковинных чар Циннобера, давал понять, что тайный советник по особым делам всего-навсего зловредный урод, она тотчас принималась говорить о дивных, прекрасных волосах, которыми его наделила природа.

Никто при таких речах Кандиды не улыбался так коварно, как референдарий Пульхер.

Он ходил по пятам за Циннобером, а верным помощником ему был тайный секретарь Адриан, тот самый молодой человек, которого чары Циннобера едва не изгнали из канцелярии министра. Ему удалось вновь приобрести расположение князя, только раздобыв отличное средство для выведения пятен.

Тайный советник по особым делам Циннобер обитал в прекрасном доме с еще более прекрасным садом, посреди которого находилась закрытая со всех сторон густым кустарником полянка, где цвели великолепные розы. Было замечено, что через каждые девять дней Циннобер тихонько встает на рассвете, одевается сам, как это ему ни трудно, без помощи слуг, спускается в сад и исчезает в кустах, скрывающих полянку.

Пульхер и Адриан, подозревая тут какую-то тайну и выведав у камердинера, что прошло девять дней с тех пор, как Циннобер посетил помянутую полянку, отважились перелезть ночью через садовую ограду и укрыться в кустах.

Едва занялось утро, как они завидели малыша, который приближался к ним, чихая и фыркая; когда он проходил куртины, росистые стебли и ветви хлестали его по носу

Когда он пришел на розовую полянку, то по кустарникам пронеслось сладостное дуновение и розы заблагоухали еще сильнее. Прекрасная, закутанная в покрывало женщина с крыльями за спиной слетела вниз, присела на резной стул, стоявший посреди розовых кустов, и, тихо приговаривая: "Пооди сюда, дитя мое", - привлекла к себе маленького Циннобера и принялась золотым гребнем расчесывать его длинные, спадавшие на спину волосы. По-видимому, это было малышу весьма

по сердцу, потому что он жмурился, вытягивая ножки, ворчал и мурлыкал, словно кот. Это продолжалось добрых пять минут, после чего волшебница провела пальцем по темени малыша, и оба, Пульхер и Адриан, заметили па голове Циннобера сверкающую узкую огненную полосу. Женщина наконец сказала:

- Прощай, милое дитя мое! Будь разумен, будь разумен, насколько сможешь.

Малыш отвечал:

- Adieu, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно повторять мне это так часто.

Незнакомка медленно поднялась и исчезла в воздухе.

Пульхер и Адриан оцепенели от изумления. Но едва Циннобер собрался удалиться, референдарий выскочил из кустов и громко закричал:

- С добрым утром, господин тайный советник по особым делам! Э! Да как славно вы причесаны!

Циннобер оглянулся и, завидев референдария, бросился было бежать. Но, по неуклюжести своей и природной слабости ног, он споткнулся и упал в высокую траву, так что стебли сомкнулись над ним и он очутился в росяной ванне. Пульхер подскочил к малышу и помог ему стать на ноги, но Циннобер загнусавил:

- Сударь, как попали вы в мой сад? Проваливайте ко всем чертям! - Тут он запрыгал и бросился опрометью домой.

Пульхер написал Бальтазару об этом удивительном происшествии и обещал ему усугубить наблюдение за маленьким колдовским отродьем. Казалось, Циннобер был безутешен от того, что с ним приключилось. Он велел уложить себя в постель и так стонал и охал, что весть о его внезапном недуге скоро дошла до министра Мондшейна, а затем и до князя Барсануфа.

Князь Барсануф тотчас послал к маленькому любимцу своего лейб-медика.

- Достойнейший господин тайный советник, - сказал лейб-медик, пощупав пульс, - вы жертвуете собой для отечества. Усердные труды уложили вас в постель, беспрестанное напряжение ума послужило причиной несказанных ваших страданий, кои вы принуждены претерпевать. Вы весьма бледны и совсем осунулись, однако ваша бесценная голова так и пылает! Ай-ай! Только не воспаление мозга! Неужто это вызвано неустанным попечением о благе государства? Едва ли это возможно! Но, позвольте!

Лейб-медик, должно быть, заметил на голове Циннобера ту самую красную полосу, которую открыли Пульхер и Адриан. И он, производя в отдалении несколько магнетических пассов и со всех сторон подув на больного, который при этом весьма явственно мяукал и пронзительно пищал, хотел провести рукой по голове и ненароком коснулся красной полосы. Но тут Циннобер, вскипев от ярости, подскочил и маленькой костлявой ручонкой влепил лейб-медику, который как раз в это время наклонился над ним, такую оплеуху, что отдалось по всей комнате.

- Что вам надобно, - вскричал Циннобер, - что вам от меня надобно, чего ради вы ерошите мои волосы? Я совсем но болен, я здоров, я тотчас встану и поеду к министру на совещание, проваливайте!

Лейб-медик в страхе поспешил прочь. Но когда он рассказывал князю Барсануфу, как с ним обошлись, то последний в восторге воскликнул:

- Какое усердие в служении государству! Какое достоинство, какое величие в поступках! Что за человек этот Циннобер!

- Мой любезнейший господин тайный советник, - обратился к Цинноберу министр Претекстатус фон Мондшейн, - как прекрасно, что вы, невзирая на вашу болезнь, прибыли на конференцию. Я составил мемориал по важнейшему долу с какатукским двором, - составил сам и прошу вас доложить его князю, ибо ваше вдохновенное чтение возвысит целое, автором коего меня тогда признает князь!

Мемориал, которым хотел блеснуть Претекстатус, составлен был не кем иным, как Адрианом.

Министр отправился вместе с малышом к князю. Циннобер вытащил из кармана мемориал, врученный ему министром, и принялся читать. Но так как из его чтения ровно ничего не получалось и он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал, то министр взял у него из рук бумагу и стал читать сам.

Князь, видимо, был в совершенном восхищении, он дозволил заметить свое одобрение, беспрестанно восклицая:

- Прекрасно! Изрядно сказано! Великолепно! Превосходно!

Как только министр кончил, князь подошел прямо к Цинноберу, поднял его, прижал к груди, как раз к тому месту, где у него, то есть у князя, красовалась большая звезда Зелено-пятнистого тигра, и, заикаясь и всхлипывая, воскликнул:

- Нет, какой человек! Какой талант! Какое усердие! Какая любовь! Это просто невероятно, невероятно! - И слезы градом сыпались из его глаз. Потом сдержаннее: - Циннобер! Я назначаю вас своим министром! Пребывайте верным и преданным отечеству, пребывайте доблестным слугой Барсануфа, который будет вас ценить, будет вас любить!

И затем, нахмурившись, обратился к министру:

- Я примечаю, любезный барон фон Мондшейн, что с некоторых пор ваши силы иссякают. Отдых в ваших имениях будет вам благоворен! Прощайте!

Министр фон Мондшейн удалился, бормоча сквозь зубы нечто невнятное и бросая яростные взгляды на Циннобера, который, по своему обыкновению, подперся тросточкой, привстал на цыпочки и с горделивым и дерзким видом озирался по сторонам.

- Я должен, - сказал князь, - я должен отличить вас, дорогой мой Циннобер, как то подобает по вашим высоким заслугам. Посему примите из моих рук орден Зелено-пятнистого тигра!

И князь хотел надеть ему орденскую ленту, повелев камердинеру со всей поспешностью принести ее; но уродливое сложение Циннобера послужило причиной того, что лента никак не могла удержаться на положенном месте, - она то непозволительно задиралась кверху, то столь же непристойно съезжала вниз.

В этом, равно как и во всех других делах, касающихся подлинного благополучия государства, князь был весьма щепетилен. Орден Зелено-пятнистого тигра надлежало носить на ленте в косом направлении между бедренной костью и копчиком, на три шестнадцатых дюйма выше последнего. Вот этого-то и не могли добиться. Камердинер, три пажа, сам князь немало потрудились над этим; но все их старания были напрасны. Предательская лента скользила во все стороны, и Циннобер стал сердито квакать:

- Чего это вы так несносно тормозите меня? Пусть эта дурацкая штукавина болтается как угодно! Я теперь - министр и им останусь!

- Для чего же, - сказал в гневе князь, - для чего же учрежден у меня капитул орденов, когда в расположении лент существуют столь глупые статуты, противные моей воле. Терпение, мой любезный министр Циннобер, скоро все будет иначе!

Дабы измыслить, каким искусным способом приладить к министру Цинноберу ленту Зелено-пятнистого тигра, пришлось по повелению князя созвать капитул орденов, коему были приданы еще два философа и один заезжий естествоиспытатель, возвращавшийся с Северного полюса. И, дабы они могли собраться с силами для столь важного совещания, всем участникам оно было предписано за неделю до того перестать думать; а чтобы могли они то произвести с большим успехом, не оставляя трудов на пользу государства, им надлежало упражняться в счете. Улицы перед дворцом, где должны были заседать члены капитула орденов, философы и естествоиспытатель, были густо застланы соломой, дабы стук колес не помешал мудрецам; по той же причине возбранялось бить в барабаны, производить музыку и даже громко разговаривать вблизи дворца. В самом же дворце все ходили в толстых войлочных туфлях и объяснялись знаками.

Семь дней напролет, с раннего утра до позднего вечера, длились совещания, но все еще нельзя было и помышлять о каком-нибудь решении.

Князь в совершенном нетерпении то и дело посылал передать им, что должны же они, черт подери, наконец измыслить что-нибудь путное. Но это нисколько не помогало.

Естествоиспытатель исследовал, насколько было возможно, сложение Циннобера, измерил высоту и ширину его горба и представил капитулу точнейшие на сей счет вычисления. Он-то и предложил наконец призвать на совещание театрального портного.

Как ни странно было это предложение, его приняли единогласно, - в таком все находилось беспокойстве и страхе.

Театральный портной, господин Кеэс, был человек чрезвычайно пронырливый и лукавый. Едва только ему изложили, в чем состояло затруднение, едва он поглядел на вычисления естествоиспытателя, как у него уже было под рукой великолепнейшее средство укрепить орденскую ленту на надлежащем месте.

А именно - на груди и на спине нужно нашить известное число пуговиц и к ним пристегивать орденскую ленту. Произведенный опыт удался на славу.

Князь был в восхищении и одобрил предложение капитула отныне учредить для ордена Зелено-пятнистого тигра несколько различных степеней - по числу пуговиц, с которыми его жалуют. Например, орден Зелено-пятнистого тигра с двумя пуговицами, с тремя пуговицами и так далее. В виде особого отличия, какого никто другой не смел домогаться, министр Циннобер получил орден с двадцатью алмазными пуговицами, ибо как раз двадцать пуговиц потребовало его удивительное телосложение.

Портной Кеэс получил орден Зелено-пятнистого тигра с двумя золотыми пуговицами, и так как сам князь, несмотря на помянутую счастливую выдумку, считал его плохим портным и потому не хотел у него одеваться, то он был пожалован чином действительного тайного обер-костюмера князя.

Доктор Проспер Альпанус задумчиво глядел из окна своего сельского дома в парк. Всю ночь напролет он был занят тем, что составлял гороскоп Бальтазара, а при этом разузнал кое-что и относительно маленького Циннобера. Но всего важнее для него было то, что случилось с малышом в саду, когда его подстерегли Пульхер и Адриан. Проспер Альпанус намеревался было кликнуть своих единорогов, чтобы они подали раковину, так как он хотел отправиться в Хох-Якобсхейм, как вдруг загремела карета и остановилась подле решетчатых ворот парка. Доложили, что канонисса фон Розеншен желает поговорить с господином доктором.

- Добро пожаловать! - сказал Проспер Альпанус, и дама вошла.

На ней было длинное черное платье, и она была закутана в покрывало, подобно матроне. Проспер Альпанус, объятый странным предчувствием, взял трость и устремил на незнакомку искрящиеся лучи своего набалдашника. И вот как будто молнии с легким потрескиванием засверкали вокруг дамы, и она явилась в белом прозрачном одеянии, блестящие стрекозьи крылья были у нее за плечами, белые и красные розы заплетены в волосах. "Эге-ге!" - прошептал Проспер, спрятав трость под шлафрок, и тотчас дама предстала в прежнем своем виде.

Проспер Альпанус приветливо пригласил ее сесть. Фрейлейн фон Розеншен сказала, что у нее было давнишнее намерение посетить господина доктора в его сельском доме, дабы приобрести знакомство с человеком, коего вся округа славит как весьма искусного, благотельного мудреца. Верно, он удовольствует ее просьбу и согласится как врач наблюдать за расположенным неподалеку приютом для благородных девиц, ибо старые дамы частенько прихварывают и не получают никакой помощи. Проспер Альпанус учтиво ответил, что хотя он уже давно оставил практику, но согласен сделать исключение и в случае надобности посетить призываемых девиц, затем он осведомился, не страдает ли сама фрейлейн фон Розеншен от какого-нибудь недуга. Фрейлейн ответила уверением, что она лишь время от времени замечает ревматические боли в членах, когда ей случается простудиться на утренней прогулке, но сейчас она совершенно здорова, и тут она перевела беседу на какую-то безразличную тему. Проспер спросил, не желает ли она, так как только что наступило утро, выпить чашку кофе? Розеншен заметила, что канониссы никогда не пренебрегают этим. Кофе подали, но, как ни старался Проспер налить его, чашки оставались пустыми, хотя кофе и лился из кофейника.

- Э-э! - улыбнулся Проспер Альпанус. - Да это строптивый кофе! Не угодно ли вам, досточтимая фрейлейн, разлить самой?

- С удовольствием, - отвечала фрейлейн и взяла кофейник. Но несмотря на то что из него не вылилось ни капли, все чашки наполнились, и кофе потек через край прямо на стол, на платье канониссы. Она поспешно отставила кофейник, и кофе бесследно исчез. Оба, Проспер Альпанус и канонисса, молча и несколько странно посмотрели друг на друга.

- Наверное, - начала дама, - наверное, вы, господин доктор, читали заманчивую книгу, когда я вошла?

- В самом деле, - отвечал доктор, - в этой книге много достопримечательного!

И он хотел раскрыть маленькую книжку в золоченом переплете, лежавшую перед ним на столе. Но все усилия его остались тщетными, ибо книжка всякий раз захлопывалась с громким: клипп-клапп!

- Э-э! - сказал Проспер Альпанус. - А не попытаетесь ли вы, досточтимая фрейлейн, совладать с этой своевольной книжицей?



Он вручил ей книгу, которая, едва только дама прикоснулась к ней, раскрылась сама собой. Но все листы выскользнули из нее, растянулись в исполинское фолио и зашуршали по всей комнате.

Фрейлейн отпрянула в испуге. Доктор с силой захлопнул книгу, и все листы исчезли.

- Однако ж, - с мягкой усмешкой сказал Проспер Альпанус, поднимаясь с места, - однако ж, моя досточтимая госпожа, для чего расточаем мы время на подобные пустые фокусы; ибо то, что мы делаем, ведь не что иное, как обыкновенные застольные фокусы; перейдем-ка лучше к более возвышенным предметам.

- Я хочу уйти! - вскричала фрейлейн и поднялась с места.

- Ну, - сказал Проспер Альпанус, - это не так легко вам удастся без моего дозволения, ибо, милостивая государыня, принужден вам сказать, вы теперь совершенно в моей власти.

- В вашей власти, - гневно воскликнула фрейлейн, - в вашей власти, господин доктор? Вздорное самообольщение!

И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к потолку прекрасной бархатно-черной бабочкой-антиопой.

Но тотчас, зажужжав и загудев, взвился за ней следом Проспер Альпанус, приняв вид дородного жука-рогача. В полном изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканием и мяуканьем устремился за ней серым котом. Мышка снова взвилась вверх блестящим колибри, но тогда вокруг дома послышались различные странные голоса, и жужжа, налетели всяческие диковинные насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые, и золотая сеть затянула окна. И вдруг фея Розабельверде, во всем блеске и величии, в сверкающем белом одеянии, опоясанная алмазным поясом, с белыми и красными розами, заплетенными в темные локоны, явилась посреди комнаты. А перед нею маг в расшитом золотом хитоне, со сверкающей короной на голове, - в руке трость с источающим огненные лучи набалдашником.

Розабельверде стала наступать на мага, как вдруг из ее волос выпал золотой гребень и разбился о мраморный пол, словно стеклянный!

- Горе мне! Горе мне! - вскричала фея.

И вдруг за кофейным столом снова сидели канонисса Розеншен, в длинном черном платье, а против нее доктор Проспер Альпанус.

- Я полагаю, - преспокойно сказал Проспер Альпанус, как ни в чем не бывало разливая прекрасный дымящийся мокко в китайские чашки, - я полагаю, моя досточтимая фрейлейн, мы теперь довольно хорошо знаем друг друга. Мне очень жаль, что ваш прекрасный гребень разбился об этот каменный пол.

- Тому виной, - возразила фрейлейн, с удовольствием прихлебывая кофе, - только моя неловкость. Нужно остерегаться ронять что-нибудь на этот пол, ибо, если я не ошибаюсь, эти камни покрыты диковиннейшими иероглифами, которые многие могут счесть за обыкновенные жилки в мраморе.

- Износившиеся талисманы, моя госпожа, - сказал Проспер, - износившиеся талисманы эти камни, ничего больше.

- Однако, любезный доктор, - воскликнула фрейлейн, - как могло случиться, что мы давным-давно не познакомились, что наши пути ни разу не сошлись?

- Различие в воспитании, - ответил Проспер Альпанус, - различие в воспитании, высокочтимая фрейлейн, единственно тому виной. В то время как вы, девушка, преисполненная надежд, были в Джиннистане всецело предоставлены вашей собственной богатой натуре, вашему счастливому гению, я, горемычный студент, заключенный в пирамидах, слушал лекции профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чертовски много знал. В правление достойного князя Деметрия я поселился в этой маленькой прелестной стране.

- Как, - удивилась фрейлейн, - и вас не выслали, когда князь Пафнутий насаждал просвещение?

- Все нет, - ответил Проспер, - более того: подлинное свое "я" мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распространял, выказать самые отменные познания по части просвещения. Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ - его приближенных, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения, которую

я вместе с моей личиной сбросил как тягостное бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, насколько мог. То, что мы с вами, досточтимая фрейлейн, зовем истинной пользой. Ведомо ли вам, дорогая фрейлейн, что это я предостерег вас от вторжения просветительной полиции? Что это мне вы обязаны тем, что еще обладаете прелестными безделками, кои вы мне только что показали? О боже, любезная фрейлейн, да поглядите только в окно! Неужто не узнаете вы этот парк, где вы так часто прогуливались и беседовали с дружественными духами, обитавшими в кустах, цветах, родниках? Этот парк я спас с помощью моей науки. Он и теперь все тот же, каким был во времена старика Деметрия. Хвала небу, князю Барсануфу нет особой нужды до всякого чародейства. Он - снисходительный государь и дозволяет каждому поступать по своей воле и чародействовать сколько душе угодно, лишь бы это не было особенно заметно да исправно платили бы подати. Вот я и живу здесь, как вы, дорогая фрейлейн, в своем приюте, счастливо и беспечально.

- Доктор, - воскликнула девица фон Розеншен, залившись слезами, - доктор, что вы сказали! Какое откровение! Да, я узнаю эту рощу, где я вкушала блаженнейшие радости. Доктор, вы благороднейший человек, сколь многим я вам обязана! И вы так жестоко преследуете моего маленького питомца?

- Вы, - возразил доктор, - вы, досточтимая фрейлейн, дали увлечь себя вашей прирожденной добротой и расточаете свои дары недостойному. Но, однако, невзирая на вашу добросердечную мощь, Циннобер - маленький уродливый негодяй и всегда таким останется, а теперь, когда золотой гребень разбился, он совершенно в моей власти.

- О, сжальтесь, доктор! - взмолилась фрейлейн.

- А не угодно ли вам поглядеть сюда? - сказал Проспер, подавая девице составленный им гороскоп Бальтазара.

Фрейлейн заглянула в гороскоп и горестно воскликнула:

- Да! Если все обстоит так, то я принуждена уступить высшей силе! Бедный Циннобер!

- Признайтесь, досточтимая фрейлейн, - с улыбкой сказал доктор, - признайтесь, что дамы нередко с большой охотой впадают в причуды; неустанно и неотступно преследуя внезапную прихоть, они не замечают, сколь болезненно это нарушает другие отношения. Судьба Циннобера свершится, но прежде он еще достигнет почести незаслуженной! Этим я свидетельствую свою преданность вашей силе, вашей доброте, вашей добродетели, моя высокочтимая милостивая госпожа.

- Прекрасный, чудесный человек, - воскликнула фрейлейн, - останьтесь моим другом!

- Навеки! - ответил доктор. - Моя дружба, моя духовная к вам склонность, прекрасная фея, никогда не пройдут. Смело обращайтесь ко мне во всех недоуменных обстоятельствах и - о, приезжайте пить кофе, когда только это вам вздумается!

- Прощайте, мой достойнейший маг, я никогда не забуду вашей благосклонности, вашего кофе!

- Сказав это, растроганная фрейлейн поднялась, чтобы удалиться.

Проспер Альпанус проводил ее до решетчатых ворот, в то время как вокруг раздавались чудеснейшие и нежнейшие лесные голоса.

У ворот вместо кареты фрейлейн стояла запряженная единорогами хрустальная раковина доктора, на запятках поместился золотой жук, раскрыв блестящие крылья. На козлах восседал серебристый фазан и, держа в клюве золотые вожжи, поглядывал на фрейлейн умными глазами.

Когда хрустальная карета покатила, наполняя дивными звуками благоухающий лес, канонисса почувствовала себя перенесенной в блаженные времена чудеснейшей жизни фей.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как профессор Мош Терпин испытывает природу в княжеском винном погребе. - *Mycetes Beelzebub*.

- Отчаяние студента Бальтазара. - Благодетельное влияние

хорошо устроенного сельского дома на семейное счастье. - Как Проспер

Альпанус преподнес Бальтазару черепаховую табакерку и затем уехал.

Бальтазар, укрывшийся в деревне Хох-Якобсхейм, получил из Керепеса от референдария Пульхера письмо следующего содержания:

“Дела наши, дорогой друг Бальтазар, идут все хуже и хуже. Наш враг, мерзостный Циннобер, сделался министром иностранных дел и получил орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами. Он вознесся в любимцы князя и берет верх во всем, чего только пожелает. Профессор Мош Терпин на себя не похож: так он напыжился от глупой гордости. Предстательством своего будущего зятя он заступил место генерал-директора всех совокупных дел по части природы во всем государстве, - должность, которая приносит ему немало денег и множество других прибытков. В силу помянутой должности генерал-директора он подвергает цензуре и ревизии солнечные и лунные затмения, равно как и предсказания погоды во всех календарях, дозволенных в государстве, и в особенности испытывает природу в резиденции князя и ее окрестностях. Ради сих занятий он получает из княжеских лесов драгоценнейшую дичь, редчайших животных, коих он, дабы исследовать их естество, велит зажаривать и съедает. Теперь он пишет (или, по крайности, уверяет, что пишет) трактат, по какой причине вино несхоже по вкусу с водой, а также оказывает иное действие, и сочинение это он намерен посвятить своему зятю. В сих целях Циннобер исхлопотал Мошу Терпину дозволение в любое время производить штудии в княжеском винном погребе. Он уже проштудировал пол-оксгофта старого рейнвейна, равно как и несколько дюжин шампанского, а теперь приступил к бочке аликанте. Погребщик в отчаянии ломает руки. Итак, профессору, который, как тебе известно, самый большой лакомка на свете, повезло, и он вел бы весьма привольную жизнь, если бы часто не приходилось ему, когда град побьет поля, поспешно выезжать в деревню, чтобы объяснить княжеским арендаторам, отчего случается град, дабы и этим глупым пентюхом малость перепало от науки и они могли бы впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать увольнения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто, кроме них самих, не повинен.

Министр никак не может позабыть принятые от тебя побои. Он поклялся отомстить. Тебе уж больше нельзя показываться в Керепесе. И меня он тоже жестоко преследует, так как я подглядел его таинственное обыкновение причесываться у крылатых дам. До тех пор пока Циннобер будет любимцем князя, мне нечего и рассчитывать заступить какую-нибудь порядочную должность. Моя несчастливая звезда беспрестанно приводит меня к встрече с этим уродом там, где я совсем не ожидаю, и всякий раз роковым для меня образом. Недавно министр во всем параде, при шпаге, звезде и орденской ленте, был в зоологическом кабинете и, по своему обыкновению, подпершись тросточкой, стоял на цыпочках перед стеклянным шкафом с редчайшими американскими обезьянами. Чужестранцы, обозревавшие кабинет, подходят к шкафу, и один из них, увидев нашего альрауна, восклицает: “Ого! Какая милая обезьяна! Какой прелестный зверек - украшение всего кабинета. А как называется эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом?”

И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Циннобера, весьма серьезно отвечает:

- Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный бразилец, так называемый *Mycetes Beelzebub* - *Simia Beelzebub Linnei - niger, barbatus, podiis caudaque apice brunneis*[\*] - обезьяна-ревун.

[\* Линнеева обезьяна Вельзевул - черная, бородатая, с кирпично-красными ногами, хвостом и макушкой (лат.).]

- Сударь, - окрысился малыш на смотрителя, - сударь, я полагаю, вы лишились ума или совсем спятили, я никакой не *Beelzebub caudaque*, - не обезьяна-ревун, я Циннобер, министр Циннобер, кавалер ордена Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами!

Я стою неподалеку, и когда б мне пришлось умереть на месте, я и то бы не удержался - я просто заржал от смеха.

- А, и вы тут, господин референдарий? - прохрипел он, и его колдовские глаза засверкали.

Бог весть как это случилось, но только чужестранцы продолжали принимать его за самую прекрасную, редкостную обезьяну, которую им когда-нибудь довелось видеть, и захотели непременно угостить его ломбардскими орехами, которые повывтаскивали из карманов. Циннобер пришел в такую ярость, что не мог передохнуть, и ноги у него подкосились. Камердинер, которого позвали, принужден был взять его на руки и снести в карету.

Я и сам не могу объяснить, отчего это происшествие было мне как бы мерцанием надежды. Это первая неудача постигшая маленького оборотня.

Намедни, насколько мне известно, Циннобер рано по утру воротился из сада весьма расстроенный. Должно быть, кралатая женщина не явилась, так как от его прекрасных кудрей не осталось и помина. Говорят, теперь его всклокоченные лохмы свисают на плечи, и князь Барсануф

заметил ему: “Не пренебрегайте чрезмерно вашей прической, дорогой министр, я пришлю к вам своего куафера”. На что Циннобер весьма учтиво ответил, что он велит этого парня, когда тот заявится, выбросить в окошко. “Великая душа! К вам и не подступиться!” - промолвил князь и горько заплакал.

Прощай, любезный Бальтазар! Не оставляй надежды да прячься получше, чтобы они тебя не схватили!”

В совершенном отчаянии от всего, о чем писал ему друг, Бальтазар убежал в самую чащу леса и принялся громко сетовать.

- Надеяться! - воскликнул он. - И я еще должен надеясь, когда всякая надежда исчезла, когда все звезды померкли и темная-претемная ночь объемлет меня, безутешного? Злосчастный рок! Я побежден темными силами, губительно вторгшимися в мою жизнь! Безумец, я возлагал надежды на Проспера Альпануса, что своим адским искусством завлек меня и удалил из Керепеса, сделав так, что удары, которые я наносил изображению в зеркало, посыпались в действительности на спину Циннобера. Ах, Кандида! Когда б только мог я позабыть это небесное дитя! Но искра любви пламенеет во мне все сильнее и жарче прежнего. Повсюду вижу я прелестный образ возлюбленной, которая с нежной улыбкой, в томлении простирает ко мне руки. Я ведь знаю! Ты любишь меня, прекрасная, сладчайшая Кандида, и в том моя безутешная, смертельная мука, что я не в силах спасти тебя от бесчестных чар, опутавших тебя! Предательский Проспер! Что сделал я тебе, что ты столь жестоко дурачишь меня?

Смерклось: все краски леса смешались в густой серой мгле. И вдруг сверкнул какой-то странный отблеск, словно вечерняя заря вспыхнула меж кустов и деревьев, и тысячи насекомых, шелестя крыльями, с жужжанием поднялись в воздух. Светящиеся золотые жуки носились взад и вперед, пестрые нарядные бабочки порхали, осыпая душистую цветочную пыльцу. Шелест и жужжание становились все нежнее, переходя в сладостно журчащую музыку, которая принесла утешение истерзанному сердцу Бальтазара. Над ним все сильнее разгоралось лучистое сияние. Он поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Альпануса, летевшего к нему на каком-то диковинном насекомом, не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми красками стрекозой.

Проспер Альпанус спустился к юноше и сел подле него, стрекоза упорхнула в кусты, вторя пению, наполнявшему весь лес.

Сверкающим чудесным цветком, что был у него в руке, доктор коснулся чела Бальтазара, и тотчас в юноше пробудился дух бодрости.

- Ты несправедлив, - тихо сказал Проспер Альпанус, - ты весьма несправедлив ко мне, любезный Бальтазар, когда бранишь меня предательским и жестоким как раз в ту самую минуту, когда мне удалось возобладать над чарами, разрушившими твою жизнь, когда я, чтобы скорей найти тебя, скорей утешить, взлетаю на своем любимом скакуне и мчусь к тебе со всем необходимым для твоего благополучия. Однако нет ничего горше любовной муки, ничто не сравнится с нетерпением души, отчаявшейся в любовной тоске. Я прощаю тебе, ибо и мне самому было не легче, когда я, примерно две тысячи лет тому назад, полюбил индийскую принцессу, которую звали Бальзамина, и в отчаянии вырвал бороду своему лучшему другу, магу Лотосу, по какой причине и сам, как ты видишь, не ношу бороды, дабы и со мной не случилось чего-либо подобного. Однако ж рассказывать тебе обо всем пространно было бы сейчас весьма неуместно, ибо всякий влюбленный хочет слышать только о своей любви и только одну ее считает достойной речи, равно как и всякий поэт с охотой внимает только своим стихам. Итак, к делу! Знай же, что Циннобер - обездоленный урод, сын бедной крестьянки, и настоящее его прозвание - крошка Цахес. Только из тщеславия принял он гордое имя Циннобер! Канонисса фон Розеншен, или в действительности прославленная фея Розабельверде, ибо эта дама но кто иная, как фея, нашла маленькое чудище на дороге. Она полагала, что за все, в чем природа-мачеха отказала малышу, вознаградит его странным таинственным даром, в силу коего все замечательное, что в его присутствии кто-либо другой помыслит, скажет или сделает, будет приписано ему, да и он в обществе красивых, рассудительных и умных людей будет признан красивым, рассудительным и умным и вообще всякий раз будет почтен совершеннейшим в том роде, с коим придет в соприкосновение.

Это удивительное волшебство заключено в трех огнистых сверкающих волосках на темени малыша. Всякое прикосновение к этим волоскам, да и вообще к голове, для него болезненно, даже губительно. По этой-то причине фея превратила его от природы редкие, всклокоченные волосы в густые, прекрасные локоны, которые, защищая голову малыша, вместе с тем скрывают упомянутую красную полоску и увеличивают чары. Каждый девятый день фея магическим золотым гребнем причесывала малыша, и эта прическа расстраивала все попытки уничтожить чары. Но этот гребень разбил надежный талисман, который я изловчился подсунуть доброй фее, когда она посетила меня.

Теперь дело за тем, чтобы вырвать у него эти три огнистых волоска, и он погрузится в былое ничтожество. Тебе, мой любезный Бальтазар, предназначено разрушить эти чары. Ты наделен мужеством, силой и ловкостью, ты свершишь все, как надлежит. Возьми это отшлифованное стеклышко, подойдя к маленькому Цинноберу, где бы ты его ни встретил, пристально погляди через это стекло на его голову, и три красных волоска прямо и несокровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзирая на пронзительный кошачий визг, который он подымет, вырви разом эти три волоска и тотчас сожги их на месте. Непременно нужно вырвать эти волоски единым разом и тотчас же сжечь, а не то они смогут причинить еще немало всяческого вреда. Поэтому особенно обрати внимание па то, чтобы напасть на малыша и крепко и ловко ухватить эти волоски, когда поблизости будет гореть камин или свечи.

- О Проспер Альпанус! - вскричал Бальтазар. - Своим недоверием я не заслужил такой доброты, такого великодушия! В глубине моего сердца родилось чувство, что мои страдания миновали, что мне отверзлись золотые врата небесного счастья.

- Я люблю, - продолжал Проспер Альпанус, - я люблю юношей, у которых, подобно тебе, любезный Бальтазар, в чистом сердце заключено нетерпеливое стремление и любовь, в чьих душах находят отзвук те величественные аккорды, что доносятся из дальней, полной божественных чудес страны - моей родины. Счастливы, одаренные этой внутренней музыкой, - единственные, кого можно назвать поэтами, хотя этим словом называют многих, которые хватают первый попавшийся контрабас, водят по нему смычком и беспорядочное дребезжание стонущих от их прикосновения струн принимают за великолепную музыку, что струится из глубины их собственных сердец. Я знаю, возлюбленный Бальтазар, - подчас тебе сдается, что ты понимаешь бормотание ручьев, шепот деревьев и будто пламенеющий закат ведет с тобой разумные речи. Да, мой Бальтазар, в эти мгновения ты и впрямь постигаешь чудесные голоса природы, ибо в твоей собственной душе возникает божественный звук, порожденный дивной гармонией сокровеннейших начал природы. Так как ты играешь на фортепьяно, о поэт, то тебе, верно, известно, что взятому тону вторят все ему созвучные. Этот закон природы взят мною не для пустого сравнения. Да, ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из тех, кому ты читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил переложить на бумагу внутреннюю музыку. В этих опытах ты еще немного успел. Однако ты сделал хороший набросок в историческом роде, когда с прагматической широтой и обстоятельностью рассказал о любви соловья к алой розе, историю, которой я был свидетелем. Это весьма искусное произведение.

Проспер Альпанус умолк. Бальтазар, широко раскрыв глаза, с удивлением смотрел на него; он совсем не знал, что ему сказать, когда стихотворение, которое он считал самым фантастическим из всего, что было им написано, Проспер объявил опытом в историческом роде.

- Тебя, - продолжал Проспер Альпанус, и лицо его озарилось приветливой улыбкой, - тебя мои речи, должно быть, приводят в изумление, и тебе, верно, многое во мне кажется странным. Но рассуди сам: по мнению всех здравомыслящих людей, я - лицо, которому дозволено выступать лишь в сказках, а ты знаешь, возлюбленный Бальтазар, подобные лица могут совершать диковинные поступки и молоть всякий вздор, сколько им вздумается, особенно же если за этим скрывается нечто такое, чего нельзя отвергнуть. Однако ж продолжим беседу. Ежели фея Розабельверде так ревностно заботится об уродливом Циннобере, то ты, Бальтазар, всецело под моей защитой. Так послушай, что я надумал для тебя сделать. Вчера меня посетил маг Лотос, он передал мне несчетное множество поклонов и столько же упреков от принцессы Бальзамины, которая пробудилась от сна и в сладостных звуках Чарта-Бхады, той прекрасной поэмы, что была нашей первой любовью, простирает ко мне томящиеся руки. Также и мой старый друг, министр Юхи, приветливо кивает мне с Полярной звезды. Я должен уехать в далекую Индию. В моем имени, которое я покидаю, я не желал

бы видеть другого владельца, кроме тебя. Завтра я отправляюсь в Керепес и составлю по всей форме дарственную запись, где я буду означен твоим дядей. Как только чары Циннобера будут разрушены, ты представишься профессору Мошу Терпину владельцем прекрасного имения, изрядного состояния и попросишь руки прелестной Кандиды, на что он с превеликой радостью согласится. Мало того! Ежели ты поселишься с Кандидой в моем сельском доме, то счастье вашего супружества обеспечено. За прекрасными деревьями сада произрастает все, что необходимо для домашнего обихода. Помимо чудеснейших плодов - еще и отменная капуста, да и всякие добротные вкусные овощи, каких по всей округе не найти. У твоей жены всегда будет первый салат, первая спаржа. Кухня так устроена, что горшки никогда не перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если ты на целый час опоздаешь к столу. Ковры, чехлы на стульях и диване такого свойства, что даже при самой большой неловкости слугам не удастся посадить на них пятно, точно так же там не бьется ни фарфор, ни стекло, какие бы великие усилия ни прилагала к тому прислуга, даже если начнет бросать посуду на каменный пол. Наконец, всякий раз когда жена устроит стирку, то на большом лугу позади дома будет стоять прекрасная ясная погода, хотя бы повсюду шел дождь, гремел гром и сверкала молния. Словом, мой Бальтазар, все устроено так, чтобы ты мог спокойно и нерушимо наслаждаться семейным счастьем подле прекрасной своей Кандиды!

Однако мне пора домой, дабы вместе с моим другом Лотосом заняться сборами к скорому отъезду. Прощай, мой Бальтазар!

Тут Проспер свистнул раз, другой, и тотчас, жужжа прилетела стрекоза. Он взнуздал ее и вскочил в седло. Но уже отлетев, внезапно остановился и вернулся к Бальтазару.

- Я было, - сказал он, - чуть не забыл о твоём друге Фабиане. Поддавшись шаловливой веселости, я чересчур жестоко покарал его за ложное умствование. В этой табакерке заключено то, что его утешит.

Проспер подал Бальтазару маленькую блестящую, полированную черепаховую табакерку, которую тот спрятал вместе с лорнеткой, ранее врученной ему Проспером для уничтожения чар Циннобера.

Проспер Альпанус прошуршал сквозь кустарник в то время как лесные голоса звенели все сладостней и громче.

Бальтазар воротился в Хох-Якобсхейм; все блаженство, весь восторг сладчайшей надежды наполняли его сердце.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и смутьяном. - Как князь Барсануф укрылся за каминным экраном и отрешил от должности генерал-директора естественных дел. - Бегство Циннобера из дома Моша Терпина. - Как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сделаться императором, но потом пошел спать.

Рано поутру, когда дороги и улицы были еще безлюдны, Бальтазар прокрался в Керепес и прямехонько побежал к своему другу Фабиану. Когда он постучал в дверь, слабый, больной голос отозвался: "Войдите!"

Бледный, изможденный, с безнадежной скорбью в лице, лежал на постели Фабиан.

- Ради бога, - вскричал Бальтазар, - ради бога, скажи, друг, что с тобой приключилось?

- Ах, друг, - прерывающимся голосом заговорил Фабиан и с трудом приподнялся в постели, - я пропал, я совсем пропал! Проклятое колдовское наваждение, которое - я знаю - наслал на меня мстительный Проспер Альпанус, довело меня до гибели!

- Статочное ли дело? - спросил Бальтазар. - Чародейство! Колдовское наваждение! Да ты ведь прежде ни во что такое не верил!

- Ах, - продолжал Фабиан слезливым голосом, - ах, Я теперь верю во все: в колдунов и ведьм, в гномов и водяных, в крысиного короля и альраунов корень - во все, во что хочешь! Кому так

непоздоровится, как мне, тот со всем согласен! Помнишь адский переполох из-за моего сюртука по возвращении от Проспера Альпануса! Да! Когда б только дело тем и кончилось! Погляди-ка, дорогой Бальтазар, что тут у меня в комнате!

Бальтазар огляделся и увидел, что кругом, по всем стенам развешано несчетное множество фраков, сюртуков, курток всевозможнейшего покроя и всевозможных цветов.

- Как? - вскричал он. - Фабиан, ты собрался торговать ветошью?

- Не насмехайся, - отвечал Фабиан, - не насмехайся, дорогой друг. Все эти платья я заказывал у знаменитейших портных, надеясь когда-нибудь избавиться от этого злосчастного проклятия, тяготеющего над моей одеждой, но тщетно. Стоит мне надеть самый лучший сюртук, который сидит на мне превосходно, и поносить его несколько минут, как рукава собираются к плечам, а фалды волочатся за мной на шесть локтей. В отчаянии я велел сшить себе вот этот спенсер с нескончаемо длинными, как у Пьеро, рукавами.

“А ну, соберитесь-ка, рукава, - думал я про себя, - растянитесь, полы, и все придет в надлежащий вид”.

Но в несколько минут с ним случилось то же самое, что и с остальным платьем! Все уменье и все усилия самых искусных портных не могут побороть этих проклятых чар! Что всюду, где я ни появлялся, надо мной потешались, глумились, это разумеется само собой, но скоро мое безвинное упорство, с каким я продолжал появляться в таком дьявольском платье, подало повод к иным суждениям. Самым меньшим злом еще было то, что женщины укоряли меня в безграничной пошлости и тщеславии, ибо я, наперекор всем обычаям, обнажаю руки, видимо считая их весьма красивыми. Теологи скоро ославили меня еретиком и только спорили еще, причислить ли меня к секте рукавианцев или фалдистов, но сошлись на том, что обе секты до чрезвычайности опасны, ибо обе допускают абсолютную свободу воли и дерзают думать что угодно. Дипломаты видели во мне презренного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его против правительства и что я вообще принадлежу к тайному сообществу, отличительный знак которого - короткие рукава. Что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы короткорукавников, коих так же надлежит опасаться, как иезуитов, даже больше, ибо они тщатся всюду насаждать вредную для всякого государства поэзию и сомневаются в непогрешимости князя. Словом, дело становилось все серьезней и серьезней, пока наконец меня не потребовал к себе ректор. Я предвидел, что будет беда, если я надену сюртук, и поэтому явился в одном жилете. Это разгневало ректора, он решил, что я хочу над ним посмеяться, и накричал на меня, приказав, чтоб я через неделю явился к нему в благоразумном, пристойном сюртуке; в противном же случае он без всякого снисхождения распорядится меня исключить. Сегодня настал срок. О я несчастный! О, проклятый Проспер Альпанус!

- Постой, - вскричал Бальтазар, - постой, любезный друг Фабиан, не поноси моего доброго, милого дядюшку, который подарил мне имение. Он и тебе не желает зла, хотя, признаюсь, он чересчур жестоко наказал тебя за самонадеянное умствование. Но я принес тебе избавление. Он прислал тебе вот эту табакерку, которая положит конец всем твоим мучениям.

Тут Бальтазар вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, полученную от Проспера Альпануса, и вручил ее безутешному Фабиану.

- Чем, - спросил он, - чем пособит мне эта глупая безделка? Какое действие может оказать маленькая черепаховая табакерка на покрой моего платья?

- Того я не знаю, - ответил Бальтазар, - однако ж мой дядюшка не станет меня обманывать, у меня к нему совершеннейшее доверие; а потому открой-ка табакерку, любезный Фабиан, давай поглядим, что в ней.

Фабиан так и сделал. Из табакерки выполз превосходно сшитый черный фрак тончайшего сукна. Оба, Фабиан и Бальтазар, не могли удержаться от крика величайшего изумления.

- Ага, я понимаю тебя, - воскликнул в восторге Бальтазар, - я понимаю тебя, мой Проспер, мой дорогой дядя! Этот фрак будет впору, он снимет все чары!

Фабиан без дальнейших околичностей надел его, и, как Бальтазар предполагал, так и случилось. Прекрасный фрак сидел на нем великолепно, как никогда, а о том, чтобы рукава полезли вверх и фалды удлинлись, не было и помину.

Вне себя от радости, Фабиан порешил тотчас же отправиться в этом новом, так хорошо сидящем

фраке к ректору и уладить все дело.

Бальтазар со всеми подробностями рассказал своему другу, как обстоит дело с Проспером Альпанусом и как тот дал ему средство положить конец мерзким бесчинствам уродливого карлика. Фабиан, совершенно переменившись, ибо его окончательно покинул дух сомнения, превозносил высокое благородство Проспера и предложил свою помощь при расколдовывании Циннобера. В эту минуту Бальтазар увидел в окно своего друга, референдаря Пульхера, который в полном унынии сворачивал за угол.

По просьбе Бальтазара Фабиан высунулся из окна, помахал рукой и крикнул референдарю, чтобы он сейчас же поднялся к нему.

Едва Пульхер вошел, как тотчас же воскликнул:

- Что за чудесный фрак на тебе, любезный Фабиан!

Но тот сказал, что Бальтазар ему все объяснит, и помчался к ректору.

Когда Бальтазар обстоятельно поведал референдарю обо всем, что произошло, тот сказал:

- Как раз пришло время умертвить это гнусное чудовище! Знай, - сегодня он торжественно справляет свою помолвку с Кандидой и тщеславный Мош Терпин устраивает празднество, на которое пригласил самого князя. Во время этого празднества мы и вторгнемся в дом профессора и нападём на малыша. Свечей в зале будет довольно, чтоб тотчас же сжечь ненавистные волоски.

Друзья успели переговорить и условиться о многих вещах, когда воротился Фабиан, сияя от радости.

- Сила, - сказал он, - сила, заключенная во фраке, выползшем из черепаховой табакерки, прекрасно себя оправдала! Едва только я вошел к ректору, он улыбнулся, весьма довольный. "Ага, - обратился он ко мне, - ага! Я вижу, любезный Фабиан, что вы отступились от своего странного заблуждения! Ну, горячие головы, подобные вам, легко вдаются в крайности! Ваше начинание я никогда не объяснял религиозным изуверством, скорее ложно понятым патриотизмом - склонностью к необычному, которая покоится на примерах героев древности. Да, вот это я понимаю! Какой прекрасный фрак! Как хорошо сидит! Слава государству, слава всему свету, когда благородные духом юноши носят фраки с так хорошо прилаженными рукавами и фалдами! Храните верность, Фабиан, храните верность такой добродетели, такой честности мыс лей, - вот откуда произрастает подлинное величие героев!" Ректор обнял меня, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная как, я вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, из которой возник фрак. "Разрешите", - сказал ректор, сложив пальцы, большой и указательный. Я раскрыл табакерку, не зная, есть ли в ней табак. Ректор взял щепотку, понюхал, схватил мою руку и крепко пожал ее, слезы текли у него по щекам; глубоко растроганный, он сказал: "Благородный юноша! Славная понюшка! Все прощено и забыто! Приходите сегодня ко мне обедать". Вы видите, друзья, всем моим мукам пришел конец, и если нам удастся сегодня разрушить чары Циннобера, - а иного и ожидать не приходится, - то и вы будете счастливы!

В освещенной сотнями свечей зале стоял крошка Циннобер в багряном расшитом платье, при большой звезде Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, - на боку шпага, шляпа с плюмажем под мышкой. Подле него - прелестная Кандида в уборе невесты, во всем сиянии красоты и юности. Циннобер держал ее руку, которую порою прижимал к губам, причем преотвратительно скалил зубы и ухмылялся. И всякий раз щеки Кандиды заливал горячий румянец, и она вперяла в малыша взор, исполненный самой искренней любви. Смотреть на это было весьма страшно, и только ослепление, в которое повергли всех чары Циннобера, было виной тому, что никто не возмущился бесчестным обманом, не схватил маленького ведьмёныша и не швырнул его в камин. Вокруг этой пары в почтительном отдалении толпились гости. Только князь Барсануф стоял рядом с Кандидой и бросал вокруг многозначительные и благосклонные взгляды, на которые, впрочем, никто не обращал особого внимания. Все взоры были устремлены на жениха и невесту, все внимание обращено к устам Циннобера, который время от времени бормотал какие-то невнятные слова, всякий раз исторгавшие у слушателей негромкое "ах!" величайшего изумления.

Пришло время обручения. Мош Терпин приблизился с подносом, на котором сверкали кольца. Он откашлялся. Циннобер как можно выше приподнялся па цыпочках, так что почти достал локтя



невесты. Все стояли в напряженном ожидании, - и тут вдруг слышатся чьи-то чужие голоса, двери в залу распахиваются, врывается Бальтазар, с ним Пульхер, Фабиан! Они прорывают круг гостей. “Что это значит, что нужно этим незваным?” - кричат все наперебой.

Князь Барсануф вопит в ужасе: “Возмущение! Крамола! Стража!” - и быстро прячется за каминный экран. Мош Терпин узнает Бальтазара, подступившего к Цинноберу, и кричит:

- Господин студент! Вы рехнулись! В своем ли вы уме? Как вы посмели ворваться сюда во время обручения? Люди! Господа! Слуги! Вытолкайте этого невежу за дверь!

Но Бальтазар, не обращая на все это ни малейшего внимания, уже достал лорнет Проспера Альпануса и пристально глядит через него на голову Циннобера. Словно пораженный электрическим ударом, Циннобер испускает пронзительный кошачий визг, разнесшийся по всей зале. Кандида в беспамятстве падает на стул. Тесный круг гостей рассыпается. Бальтазар отчетливо видит огнистую сверкающую прядь, он подскакивает к Цинноберу - хватает его. Тот отбрыкивается, упирается, царапается, кусается.

- Держите! Держите! - кричит Бальтазар. Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волосы, единым духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздаётся оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: “Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?” - и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и, не умолкая, кричит: “Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!” - то все разражаются ужаснейшим смехом. Малыша окружают. Мужчины подхватывают его и перебрасывают, как мяч. Орденские пуговицы отлетают одна за другой - он теряет шляпу, шпагу, башмаки. Князь Барсануф выходит из-за каминного экрана и вмешивается в суматоху. Тут малыш визжит:

- Князь Барсануф! Ваша светлость! Спасите вашего министра! Вашего любимца! На помощь! На помощь! Государство в опасности! Зелено-пятнистый тигр, горе, горе!

Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит к дверям. Мош Терпин заступает ему дорогу. Князь хватается за руку, отводит в угол и говорит, сверкая от ярости глазами:

- Вы осмелились перед вашим князем, перед отцом отечества разыграть глупую комедию? Вы пригласили меня на помолвку вашей дочери с моим достойным министром Циннобером, и вместо моего министра я нахожу здесь какого-то мерзкого выродка, которого вы раздели в пышное платье? Знайте, сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сумасбродом, которому место в доме умалишенных. Я отрешаю вас от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!

И он стремительно выбежал из дому.

Дрожа от бешенства, бросился Мош Терпин на малыша, ухватил его за длинные всклокоченные волосы и поволок к окну.

- Проваливай, - кричал он, - проваливай, мерзкий, презренный выродок, который так постыдно провел меня и лишил счастья всей жизни!

Он собрался было выбросить малыша в открытое окно, однако ж смотритель зоологического кабинета, случившийся тут же, с быстротою молнии подскочил к ним и выхватил Циннобера из рук Моша Терпина.

- Остановитесь, - сказал смотритель, - остановитесь, господин профессор, не покушайтесь на то, что принадлежит князю. Это вовсе не выродок, это - *Mycetes Beelzebub*, *Simia Beelzebub*, сбежавший из музея.

“*Simia Beelzebub! Simia Beelzebub!*” - загремел кругом громкий смех. Но едва только смотритель взял малыша на руки и хорошенько разглядел его, как воскликнул с досадою:

- Что я вижу! да ведь это не *Simia Beelzebub* - это гадкий, отвратительный альраун! Тьфу! Тьфу!

И с этими словами он швырнул малыша на середину залы. Под раскаты зычного надругательского смеха, визжа и мяуча, выбежал Циннобер за дверь, скатился по лестнице - скорее, скорее домой, - так

что никто из слуг его даже не заметил.

Покуда все это происходило в зале, Бальтазар удалился в гостиную, куда, как он узнал, отнесли бесчувственную Кандиду. Он упал к ее ногам, прижимал к своим губам ее руки, называл ее нежнейшими именами. Но вот, глубоко вздохнув, она очнулась и, увидев Бальтазара, в восторге воскликнула:

- Наконец-то, наконец-то ты здесь, любимый мой Бальтазар! Ах, я едва не умерла от тоски и любовной муки! И мне все слышалось пение соловья, от которого истекает кровью сердце алой розы!

И вот, обо всем, обо всем позабыв, она рассказала ему, какой злой, отвратительный сон окутал ее, как ей казалось, что у ее сердца лежит безобразное чудище, которое она была принуждена полюбить, ибо не могла иначе. Чудище умело так притворяться, что становилось похоже на Бальтазара; а когда она прилежно думала о Бальтазаре, то, хотя и знала, что чудище не Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось, будто она любит чудище именно ради Бальтазара.

Бальтазар объяснил ей все, насколько это было возможно, не внося расстройства в ее и без того взволнованную душу. Затем, как это всегда бывает у влюбленных, последовали тысячи уверений, тысячи клятв в вечной любви и верности. И они обнялись и прижимали друг друга к груди со всем жаром искренней нежности и были упоены высшим небесным блаженством и восторгом.

Вошел Мош Терпин, ломая руки и горько сетуя; за ним следом - Пульхер и Фабиан, беспрестанно его утешавшие, но тщетно.

- Нет, - вопил Мош Терпин, - нет, я вконец погибший человек! Я уже больше не генерал-директор естественных дел в нашем государстве! Никаких штудий в княжеском погребце... Немилость князя... Я надеялся стать кавалером ордена Зелено-пятнистого тигра, по крайней мере с пятью пуговицами! Все пропало! Что-то теперь скажет его превосходительство досточтимый министр Циннобер, когда услышит, что я принял за него негодного выродка *Simia Beelzebub cauda prehensili*[\*] или не знаю кого там еще. О боже, его ненависть падет на меня! Аликанте! Аликанте!

[\* Обезьяна Вельзевул с цепким хвостом (лат.).]

- Но послушайте, дорогой профессор, - утешали его друзья, - уважаемый генерал-директор, возьмите в толк, что теперь уже больше нет никакого министра Циннобера. Вы совсем не обманулись: мерзкий уродец в силу волшебного дара, полученного им от феи Розабельверде, обольстил вас так же, как и всех нас!

И вот Бальтазар рассказал, как все это случилось, с самого начала. Профессор слушал, слушал, пока Бальтазар не кончил, и вдруг воскликнул:

- Во сне я или наяву, - ведьмы, волшебники, феи, магические зеркала, симпатии - и я должен поверить в этот вздор?

- Ах, любезный господин профессор, - вмешался Фабиан, - поносили бы вы хоть малое время сюртук с короткими рукавами да длинным шлейфом, как это довелось мне, вы бы во все уверовали, так что любо было бы посмотреть!

- Да, - вскричал Мош Терпин, - да, да, все это так! Да, меня обольстило заколдованное чудище, я уже не стою на ногах, я взлетаю под потолок, Проспер Альпанус берет меня с собой, я выезжаю верхом на мотыльке, меня будет причесывать фея Розабельверде - канонисса Розеншен, - и я стану министром! Королем! Императором!

И он принялся прыгать по комнате, кричать и издавать радостные возгласы, так что все опасались за его рассудок, пока наконец, совсем обессилев, не упал в кресла. Тут Кандида и Бальтазар подошли к нему. Они сказали, что любят друг друга нежно, больше всего на свете, что не могут друг без друга жить, так что слушать их было весьма грустно, по какой причине Мош Терпин даже немного всплакнул.

- Дети, - воскликнул он, всхлипывая, - дети, делайте все, что хотите! Женитесь, любите друг друга, голодайте вместе, потому что в приданое Кандиде я не дам ни гроша!

Что касается голода, сказал, улыбаясь, Бальтазар, так он надеется завтра убедить господина профессора, что об этом никогда не зайдет речь, ибо его дядя, Проспер Альпанус, о нем хорошо позаботился.

- Так и сделай, - пролепетал профессор, улыбаясь, - так и сделай, мой любезный сын, коли сможешь, но только завтра; а не то я лишусь ума и у меня треснет голова, если я тотчас не отправлюсь спать!

Так он и поступил.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Смушение верного камердинера. - Как старая Лиза учинила мятеж, а министр Циннобер, обратившись в бегство, поскользнулся. - Каким удивительным образом объяснил лейб-медик скоропостижную смерть Циннобера. - Как князь Барсануф был опечален, как он ел лук и как утрата Циннобера осталась невознаградимой.

Карета министра Циннобера почти всю ночь тщетно простояла перед домом Моша Терпина. Егерю не раз говорили, что их превосходительство, должно быть, уже давно оставили общество, но егеря полагал, что это никак невозможно, ибо не побежит же их превосходительство домой пешком в такой дождь и ветер. А когда наконец потушили все огни и заперли двери, егерю все же пришлось отбыть с пустой каретой, однако в доме министра он тотчас же разбудил камердинера и спросил, воротился ли министр домой и - праведное небо! - каким образом это случилось.

- Их превосходительство, - шепнул камердинер ему на ухо, - их превосходительство вчера воротились домой поздно вечером, это доподлинно. Они легли в постель и теперь почивают! Однако ж! Дорогой егеря! в каком виде! каким образом! я вам про все расскажу, - но... чур, молчок! я пропал, коли их превосходительство узнают, что это я повстречался им в темном коридоре, я лишусь должности, ибо хотя их превосходительство и невеликоньки ростом, однако же обладают чрезмерно крутым нравом, скоры на гнев и не помнят себя в ярости, еще вчера они без устали кололи шпагой дрянную мышь, осмелившуюся прошмыгнуть через опочивальню их превосходительства. Ну, ладно! Так вот, накидываю я в сумерках свой плащишко и собираюсь улизнуть в кабачок через дорогу - сыграть партию в трик-трак, вдруг на лестнице что-то как зашуршит, как зашаркает - прямо на меня, проскакивает в темном коридоре у меня промеж ног, падает на пол и подымает пронзительный кошачий визг, а потом хрюкает. О боже! Егеря! Только попридержите язык, вы - благородный человек, а не то я пропал. Подойдите-ка поближе! И хрюкает, как имеет обыкновение хрюкать наша милость, их превосходительство, когда повар пережарит телятину или в государстве творится что-нибудь неладное.

Последние слова камердинер прошептал егерю на ухо, прикрыв рот рукой. Егеря отпрянул, состроил недоверчивую мину и воскликнул:

- Возможно ли?

- Да, - продолжал камердинер, - нет никакого сом-нения, что это наша милость, их превосходительство, проскочило у меня промеж ног в коридоре. Я слышал явственно, как их милость гремели стульями по комнатам и хлопали дверьми, пока не добрались до опочивальни. Я не отважился пойти следом, но, переждав несколько часов, подкрался к двери спальни и прислушался. И вот их превосходительство изволят храпеть, как то у них в обыкновении перед великими делами. Егеря! "И на земле и в небесах есть многое, о чем еще не грезила земная наша мудрость!" - как довелось мне слышать в театре; это говорил какой-то меланхолический принц; он был одет во все черное и очень боялся другого, расхаживавшего в серых картонных латах. Егеря, вчера, верно, случилось нечто весьма удивительное, что принудило их превосходительство воротиться домой. У профессора в гостях был князь, быть может, он что-либо проронил о том о сем, какая-нибудь приятная реформочка - и вот министр тотчас взялся за дело, спешит с помолвки и начинает трудиться на благо отечества. Я-то уж сразу заметил по храпу: случится что-то значительное. Предстоят великие перемены! Ох, егеря, быть может, нам всем рано или поздно придется снова отращивать косы! Однако ж, бесценный друг, пойдем да послушаем как верные слуги у дверей спальни, все ли еще их превосходительство почивают в постели и заняты своими сокровенными мыслями.

Оба - камердинер и егеря - прокрались к дверям и прислушались. Циннобер ворчал, храпел и свистел, пуская удивительнейшие рулады. Слуги застыли в немом благоговении, и камердинер сказал растроганно:

- Какой, однако ж, великий человек наш милостивый господин министр!

Рано поутру в прихожей дома, где жил министр, поднялся великий шум. Старая крестьянка, одетая в жалкое, давно полинявшее праздничное платье, вторглась в дом и стала просить швейцара немедля провести ее к сыночку - крошке Цахесу. Швейцар соизволил пояснить, что в доме живет его превосходительство господин министр фон Циннобер, кавалер ордена Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, а среди прислуги никого нет, кого зовут или прозывают крошкой Цахесом. Но тут женщина, ошалев от радости, закричала, что господин министр с двадцатью пуговицами - как раз ее любезный сыночек, крошка Цахес. На крики старухи, на раскатистую брань швейцара сбежался весь дом, и гомон становился все сильнее и сильнее. Когда камердинер спустился вниз, чтобы разогнать людей, столь бессовестно тревожащих утренний покой его превосходительства, женщину, которую все почли рехнувшейся, уже выталкивали на улицу.

Женщина присела на каменные ступени дома, расположенного напротив, и стала всхлипывать и горько сетовать на злых людей, которые не захотели допустить ее к любезному дитятке, крошке Цахесу, что сделался министром. Мало-помалу вокруг нее собралось множество народу, которому она беспрестанно повторяла, что министр Циннобер не кто иной, как ее сын, которого она в малолетстве называла крошкой Цахесом, так что люди под конец уже не знали, считать ли эту женщину безумной или, быть может, тут и в самом деле что-то кроется.

Старуха не сводила глаз с окон Циннобера. Вдруг она звонко рассмеялась, радостно захлопала в ладоши и прегромко закричала:

- Вот оно, вот оно, мое дитятко ненаглядное - мой крохотный гномик! С добрым утром, крошка Цахес! С добрым утром, крошка Цахес!

Все взглянули вверх и, увидев маленького Циннобера, который стоял в багряно-красном расшитом платье, с орденской лентой Зелено-пятнистого тигра, у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить:

- Крошка Цахес! Крошка Цахес! Ага, поглядите только на маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Альраун! Крошка Цахес! Крошка Цахес!

Швейцар, все слуги Циннобера повыбежали на улицу, чтоб поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех:

- Крошка Цахес! Крошка Цахес! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!

Казалось, министр только теперь заметил, что причиной беснования на улице был он сам, а не что-нибудь иное. Циннобер распахнул окно, засверкал на толпу гневными очами, закричал, забушевал, стал от ярости выделывать диковинные прыжки, грозил стражей, полицией, тюрьмой и крепостью.

Но, чем больше бушевали и гневались их превосходительство, тем неистовей становились смех и суматоха. В злополучного министра принялись бросать камнями, плодами, овощами - всем, что подвертывалось под руку. Ему пришлось скрыться.

- Боже праведный! - вскричал камердинер в ужасе. - Да ведь это мерзкое чудище выглянуло из окна их превосходительства. Что б это значило? Как попал этот маленький ведьменьш в покой? - С этими словами он кинулся наверх, но спальня министра была по-прежнему на запоре. Он отважился тихонько постучать - никакого ответа!

Меж тем, бог весть каким образом, в народе разнеслась глухая молва, что это уморительное чудовище, стоявшее у окна, и впрямь крошка Цахес, принявший гордое имя "Циннобер" и возвеличившийся всяческим бесчестным обманом и ложью. Все громче и громче раздавались голоса: "Долой эту маленькую бестию! Долой! Выколоти его из министерского камзола! Засадить его в клетку! Показывать его за деньги на ярмарках! Оклеить его сусальным золотом да подарить детям вместо игрушки. Наверх! Наверх!" И народ стал ломиться в дом.

Камердинер в отчаянии ломал руки.

- Возмущение! Мятеж! Ваше превосходительство! Отворите! Спасайтесь! - кричал он, но ответа не было; слышался только тихий стон.

Двери были выломаны, народ с диким хохотом затопал по лестницам.

- Ну, пора, - сказал камердинер и, разбежавшись, изо всех сил налетел на дверь кабинета, так что

она со звоном и треском соскочила с петель. Их превосходительства - Циннобера - нигде не было видно!

- Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Неужто вы не слышите возмущения? Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Да куда же вы... господи, прости мое прегрешение, да где же это вы изволите находиться?

Так кричал камердинер, бегая по комнатам в совершенном отчаянии. Но ответа не было; только мраморные стены отзывались насмешливым эхом. Казалось, Циннобер исчез без следа, без единого звука. На улице поутихло. Камердинер слышал звучный женский голос, обращавшийся к народу, и, глянув в окно, увидел, что люди мало-помалу расходятся, перешептываясь и подозрительно поглядывая на окна.

- Возмущение, кажется, прошло, - сказал камердинер. - Ну, теперь их милостивое превосходительство, наверное, выйдут из своего убежища.

Он опять прошел в опочивальню в надежде, что в конце концов министр объявится там.

Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего подле самого туалета, ибо министр весьма им дорожил как бесценным подарком князя, торчат совсем маленькие худенькие ножки.

- Боже, боже! - вскричал в ужасе камердинер. - Боже, боже! Коли я не ошибаюсь, то эти ножки принадлежат их превосходительству, господину министру Цинноберу, моему милостивому господину. - Он подошел ближе и окликнул, трепеща от ужаса и заглядывая в глубь сосуда: - Ваше превосходительство! Ваше превосходительство, ради бога, что вы делаете? Чем вы заняты там, внизу?

Но так как Циннобер не отзывался, то камердинер воочию убедился в опасности, в какой находилось их превосходительство, и что пришло время отрешиться от всякого респекта. Он схватил Циннобера за ножки и вытащил его. Ах, мертв, мертв был он - маленькое их превосходительство! Камердинер поднял громкий горестный вопль, егеря, слуги поспешили к нему, побежали за лейб-медиком князя. Тем временем камердинер вытер досуха своего бедного, злополучного господина чистыми полотенцами, положил его на постель, укрыл шелковыми подушками, так что на виду осталось только маленькое сморщенное личико.

Тут вошла фрейлейн фон Розеншен. Сперва она, бог весть каким образом, успокоила народ. Теперь она подошла к бездыханному Цинноберу; за ней следовала старая Лиза, родная мать крошки Цахеса. Циннобер теперь на самом деле был красивее, чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты, носик бел, уста чуть тронула нежная улыбка, а главное - вновь прекрасными локонами рассыпались темно-каштановые волосы. Фрейлейн провела рукой по голове малыша, и на ней в тот же миг тускло зажглась красная полоска.

- О! - воскликнула фрейлейн, и глаза ее засверкали от радости. - О Проспер Альпанус! Великий мастер, ты сдержал слово! Жребий его свершился, и с ним искуплен весь позор!

- Ах, - молвила старая Лиза. - Ах, боже ты мой милостивый, да ведь это не крошка Цахес, тог никогда не был таким пригожим! Так, значит, я пришла в город совсем понапрасну, и вы мне неладно присоветовали, - досточтимая фрейлейн!

- Не ворчи, старая, - сказала фрейлейн. - Когда бы ты хорошенько следовала моему совету и не вторглась в дом раньше, чем я сюда пришла, то все было бы для тебя лучше. Я повторяю, - малыш, что лежит тут в постели, воистину и доподлинно твой сын, крошка Цахес.

- Ну, - вскричала старуха, и глаза ее заблестели, - ну, так ежели их маленькое превосходительство и впрямь мое дитяtko, то, значит, мне в наследство достанутся все красивые вещи, что тут стоят вокруг, весь дом, со всем, что в нем есть?

- Нет, - ответила фрейлейн, - это все миновало, ты упустила надлежащее время, когда могла приобрести деньги и добро. Тебе, - я сразу о том сказала, - тебе богатство не суждено!

- Так нельзя ли мне, - сказала старуха, и у нее на глазах навернулись слезы, - нельзя ли мне хоть, по крайности, взять моего бедного малыша в передник и отнести домой? У нашего пастора много хорошеньких чучел - птичек и белочек; он набьет и моего крошку Цахеса, и я поставлю его на шкаф таким, как он есть, в красном камзоле, с широкой лентой и звездой на груди, на вечное вспоминание!

- Ну, ну! - воскликнула фрейлейн почти с досадой. - Ну, это совсем вздорная мысль! Это никак

невозможно!

Тут старушка принялась всхлипывать, жаловаться и сетовать:

- Что мне от того, что мой крошка Цахес достиг высоких почестей и большого богатства!

Когда б остался он у меня, я бы взрастила его в бедности, и ему б никогда не привелось упасть в эту проклятую серебряную посудину, он бы и сейчас был жив и доставлял бы мне благополучие и радость. Я носила бы его в своей корзине по округе, люди жалели бы меня и бросали бы мне монеты, а теперь...

В передней слышались шаги, фрейлейн спровадила старуху, наказав ей ждать внизу у ворот, - перед отъездом она вручит ей надежное средство разом избавиться от всякой нужды и напасти.

И вот Розабельверде опять приблизилась к мертвому и мягким, дрожащим, исполненным глубокой жалости голосом сказала:

- Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра. Верно, было безрассудством думать, что внешний прекрасный дар, коим я наделила тебя, подобно лучу, проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: "Ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь ввысь". Но внутренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух не мог воспрянуть, ты не отстал от глупости, грубости, непристойности. Ах! Если бы ты не поднялся из ничтожества и остался маленьким, неотесанным болваном, ты б избежал постыдной смерти! Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы после смерти тебя вновь приняли за того, кем ты моею властью казался при жизни. Быть может, мне доведется еще увидеть тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной белкой, я буду этому рада! Спи с миром, крошка Цахес!

Едва только Розабельверде оставила комнату, как вошли лейб-медик князя и камердинер.

- Ради бога, - вскричал медик, увидев мертвого Циннобера и убедившись, что все средства возвратить его к жизни тщетны, - ради бога, господин камердинер, как это случилось?

- Ах, - отвечал тот, - ах, любезный господин доктор, возмущение - или революция, - все равно как вы это ни назовете, - шумела и бушевала в прихожей ужаснейшим образом. Их превосходительство, опасаясь за свою драгоценную жизнь, верно, намеревались укрыться в туалет, поскользнулись и...

- Так, значит, - торжественно и растроганно сказал доктор, - так, значит, он умер от боязни умереть!

Двери распахнулись, и в опочивальню стремительно вбежал бледный князь Барсануф, за ним семь камергеров, еще бледнее.

- Неужто правда? Неужто правда? - воскликнул князь; но едва он завидел тельце усопшего, как отпрянул и, возведя очи горе, сказал голосом, исполненным величайшей скорби: - О Циннобер!

И семь камергеров воскликнули вслед за князем: "О Циннобер!" - и вытащили, подобно князю, носовые платки и поднесли их к глазам.

- Какая утрата, - начал князь по прошествии нескольких минут безмолвной горести, - какая невознаградимая утрата для государства! Где сыскать государственного мужа, который бы с таким же достоинством носил орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как мой Циннобер. Лейб-медик, как допустили вы, чтоб у меня умер такой человек! Скажите, как это случилось, как могло это стать, какая была тому причина, от чего умер несравненный?

Лейб-медик весьма заботливо осмотрел малыша, ощупал все места, где раньше бился пульс, провел рукой по голове усопшего, откашлялся и повел речь:

- Мой все милостивый повелитель! Если бы я должен был довольствоваться только видимой поверхностью явлений, то я мог бы сказать, что министр скончался от полного отсутствия дыхания, а это отсутствие дыхания произошло от невозможности дышать, каковая невозможность, в свою очередь, произведена стихией, гумором, той жидкостью, в которую низвергся министр. Я бы мог сказать, что, таким образом, министр умер гумористической смертью, однако ж я далек от суждений столь неосновательных, я чужд страсти объяснять, исходя из физических начал, то, что естественно и неопровержимо покоится на чисто психических началах. Мой все милостивейший князь, честный муж говорит напрямик! Первопричина смерти министра была заключена в ордене Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами!

- Как? - воскликнул князь, гневно сверкнув очами на лейб-медика. - Как? Что вы сказали? Орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, который усопший с таким достоинством, с таким

изяществом носил на благо государства, - в этом причина его смерти? Приведите мне доказательства или... камергеры, какого вы на сей счет мнения?

- Он должен привести доказательства, он должен привести доказательства, или... - воскликнули все семь бледных камергеров, и лейб-медик продолжал:

- Мой славный, всемилостивейший князь! Я это докажу, и потому не надо никакого "или"! Дело обстоит следующим образом: тяжелый орденский знак на ленте, особенно же пуговицы на спине оказывали вредное действие на ганглии станового хребта. И в то же время орденская звезда производила давление на то узловато-волокнутое сращение между грудобрюшной преградой и верхней брыжейной жилой, которое мы называем солнечным сплетением и которое преобладает в лабиринте прочих нервных сплетений. Сей доминирующий орган находится в многообразнейших отношениях с церебральной системой, и естественно, что пагубное воздействие на ганглии было также вредоносно и для него. Но разве нерушимое отправление церебральной системы не есть необходимое условие сознания, личности как выражения совершеннейшего соединения целого в едином фокусе? Не является ли весь жизненный процесс деятельностью в обеих сферах, в ганглиональной и церебральной системах? Итак, помянутое пагубное воздействие нарушило функции психического организма. Сперва появились мрачные мысли о тайном самопожертвовании на благо государства через болезненное ношение ордена и тому подобное; состояние становилось все более опасным, пока полная дисгармония между ганглиональной и церебральной системами не привела к совершенному исчезновению сознания, полному уничтожению личности. Это состояние мы и обозначаем словом "смерть"! Да, всемилостивейший повелитель, министр уже утратил свою личность и был, таким образом, совершенно мертв, когда низвергнулся в этот роковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая, а неизмеримо более глубокая - психическая.

- Лейб-медик, - сказал князь с неудовольствием, - Лейб-медик, вы болтаете битых полчаса, но будь я проклят, ежели понял хоть одно слово. Что вы разумеете под физическим и психическим?

- Физический принцип, - снова заговорил медик, - есть условие чисто вегетативной жизни, психический же, напротив, обуславливает человеческий организм, который находит двигателя своего бытия лишь в духе, в способности мышления.

- Я все еще, - воскликнул князь с величайшей досадой, - все еще не понимаю вас, невразумительный вы человек!

- Я полагаю, - сказал доктор, - я полагаю, светлейший князь, что физическое относится только к чисто вегетативной жизни, лишенной способности мышления, как это имеет место у растений, психическое же относится к способности мышления. Но ежели последнее в человеческом организме главенствует, то медику надлежит всегда начинать со способности мышления, с области духа, и взирать на тело только как на вассала духа, который должен повиноваться, коль скоро этого пожелает его повелитель.

- Ого! - воскликнул князь. - Ого! Лейб-медик, оставьте вы это! Лечите вы мое тело и отложите попечение о моем духе, который еще никогда не доставлял мне беспокойства. Вообще, лейб-медик, вы препотешный человек, и если бы я не стоял сейчас возле тела своего министра и не был так растроган, я б знал, как мне поступить. Ну, камергеры, прольем еще слезу над ложем усопшего и отправимся обедать.

Князь приложил платок к глазам и всхлипнул, камергеры поступили точно так же; потом все вышли.

Возле дверей стояла старая Лиза, навесившая на руку несколько вязок прекраснейшего золотистого луку, лучше какого не сыскать. Ненароком взгляд князя упал на эти овощи. Он остановился, скорбь исчезла с его лица: он ласково и милостиво улыбнулся и промолвил:

- Во всю жизнь не доводилось мне видеть столь прекрасных луковиц, должно быть, они превосходны на вкус! Вы их продаете, любезная?

- Как же, - ответила Лиза, низко приседая, - как же, милостивейшая ваша светлость, продажей лука я снискиваю себе, как только могу, скудное пропитание. Они сладки, как чистый мед. Не угодно ли отведать, милостивейший господин?

Тут она протянула князю вязку самых ядреных, самых блестящих луковиц. Тот взял, улыбнулся, причмокнул и воскликнул:

- Камергеры, пусть один из вас подаст мне ножик! - Получив нож, князь бережно и изящно

очистил луковицу и отведал.

- Какой вкус! Какая сладость! Какая прелесть! Какой огонь! - воскликнул он, и глаза его заблестели от восхищения. - Мне словно чудится, будто я вижу перед собой покойного Циннобера, который кивает мне и шепчет: "Покупайте, ешьте эти луковицы, мой князь, этого требует благо государства".

Князь сунул старой Лизе несколько золотых, и камергеры принуждены были рассовать по карманам остальные вязки. Более того! Он определил, чтоб впредь, кроме старой Лизы, никто другой не поставлял лук для княжеских завтраков. И вот мать крошки Цахеса, не став, правда, богачкой, избавилась от всякой нужды и бедности, и, наверно, в этом ей помогли тайные чары доброй феи Розабельверде.

Погребение министра Циннобера было одним из самых великолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена Зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, кои с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. Горожане, народ - все плакали и сокрушались, что отечество лишилось лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу, как Циннобер.

И в самом деле, потеря эта осталась невознаградимой, ибо никогда больше не сыскалось министра, которому пришелся бы так впору орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как отошедшему в вечность незабвенных Цинноберу.

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Слезная просьба автора. - Как профессор Мош Терпин успокоился, а Кандида уже никогда больше не могла рассердиться. - Как золотой жук прожужжал что-то на ухо доктору Просперу Альпанусу и как тот уехал, а Бальтазар стал жить в счастливом супружестве.

Близится время, когда тот, кто пишет для тебя, любезный читатель, эти листы, принужден будет с тобой расстаться, и его охватывают тоска и робость. Еще много-много знает он о примечательных деяниях маленького Циннобера и весьма охотно пересказал бы тебе все это, о мой читатель, ибо страсть, родившаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его написать эту повесть! Но! оглядываясь на все события, как они были представлены в предшествовавших девяти главах, чувствует он, что в них уже содержится столько диковинного, безрассудного, противного трезвому разуму, что, нагромождая еще множество подобных вещей, он подвергнет себя опасности, злоупотребив твоим доверием, любезный читатель, совсем с тобой не поладить. Он умоляет тебя с тоской и робостью, столь внезапно стеснившими его грудь, когда он написал "Глава последняя", - да будет тебе угодно с истинной веселостью и нестесненным сердцем созерцать эти странные образы, даже сдружиться с ними; они внушены поэту призрачным духом - Фантазусом, - чьей причудливой, прихотливой натурой он, быть может, позволил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих - поэта и причудливого духа! А если ты, любезный читатель, изредка кое-чему улыбался про себя, то ты был в том самом расположении духа, какое желал вызвать пишущий эти страницы, и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину.

Собственно, эта повесть могла бы закончиться трагической смертью маленького Циннобера. Но разве не приятнее будет, когда вместо печального погребения ее завершит радостная свадьба?

Итак, коротко вспомним еще о прелестной Кандиде и счастливом Бальтазаре.

Профессор Мош Терпин раньше был просвещенный, искушенный человек, который, согласно мудрому изречению: "Nil admirari"[\*], уже много-много лет ничему на свете не удивлялся. Но теперь, отрешившись от всей своей мудрости, он принужден был непрестанно удивляться, так что под конец стал жаловаться, что он больше не знает, впрямь ли он профессор Мош Терпин, который прежде



управлял всеми естественными делами в государстве, и действительно ли он еще расхаживает на своих ногах, вверх головой.

[\* Ничему не удивляться (лат.).]

Сперва он удивился, когда Бальтазар представил ему доктора Проспера Альпануса как своего дядю и тот показал дарственную запись, в силу коей Бальтазар сделался владельцем расположенного в часе езды от Керепеса сельского дома, вместе с прилежащими лесными угодьями, полями и лугами; он едва поверил своим глазам, когда увидел, что в инвентарной росписи помянута драгоценнейшая утварь, даже золотые и серебряные слитки, ценность которых превосходила все богатство княжеской сокровищницы. Потом он удивился, поглядев через Бальтазаров лорнет на великолепный гроб, в котором покоился Циннобер, и ему внезапно показалось, что никакого министра Циннобера никогда и не было, а был всего только маленький, нескладный, неотесанный уродец, коего ненароком почли за сведущего, мудрого министра Циннобера.

Удивление Моша Терпина достигло величайшей степени, когда Проспер Альпанус стал водить его по дому, показывая свою библиотеку и другие весьма диковинные вещи, и даже произвел целый ряд изящных опытов с редкостными растениями и животными.

Профессору пришло на ум, что все его исследования по части естественной истории ровно ничего не стоят и он заключен в великолепный, пестрый, волшебный мир, словно в яйцо. Эта мысль так всполошила его, что под конец он принялся жаловаться и плакать, как ребенок. Бальтазар тотчас же отвел его в поместительный винный погреб, где взору профессора представились лоснящиеся бочки и сверкающие бутылки. Здесь, полагал Бальтазар, ему будет вольготнее производить штудии, нежели в княжеском погребе, и он сможет вдосталь испытывать природу в прекрасном парке.

Тут профессор успокоился.

Свадьбу Бальтазара справляли в загородном доме. Он, его друзья - Фабиан, Пульхер, все дивились несравненной красоте Кандиды, волшебной прелести ее одеяния, всего существа. То в самом деле были чары, ибо присутствовавшая на свадьбе, под видом канониссы фон Розеншен, фея Розабельверде, позабыв свой гнев, сама одела Кандиду и убрала ее пышными и прекрасными розами. А ведь хорошо известно, что платье пойдет хоть кому, ежели за дело возьмется фея. Кроме того, Розабельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье, магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прической, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта способность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала ее лицу особенную прелесть и приветливую веселость.

Молодые были на седьмом небе и - такое действие оказывали на них тайные чары мудрого Альпануса - все ж находили слова и взоры для собравшихся милых друзей. Проспер Альпанус и Розабельверде позаботились о том, чтобы день свадьбы был ознаменован прекраснейшими чудесами. Повсюду из кустов и деревьев доносилась сладостная гармония любви, меж тем как из-под земли вырастали мерцающие столы, обремененные великолепнейшими яствами и хрустальными графинами, из которых струилось благороднейшее вино, разливавшееся огнем по жилам.

Настала ночь, и огненные радуги перекинулись над парком, и сверкающие птицы и насекомые запорхали вокруг, и, когда они встряхивали крыльями, с них сыпались миллионы искр и составляли различные прелестные фигуры, которые беспрестанно сменялись, плясали и кувыркались в воздухе и внезапно исчезали в кустах. И все громче звучала лесная музыка, и ночной ветер разносил таинственный шепот и сладостное благоухание.

Бальтазар, Кандида, гости признали действие могущественных чар Проспера Альпануса, но Мош Терпин, захмелев, громко смеялся и уверял, что за всем этим скрывается не кто иной, как продувной молодчик - оперный декоратор и фейерверкер князя.

Раздались резкие удары колокола. Блестящий золотой жук опустился на плечо Проспера Альпануса и, казалось, что-то тихонько прожужжал ему на ухо.

Проспер Альпанус поднялся со своего места и сказал торжественно и серьезно:

- Любезный Бальтазар, прелестная Кандида, друзья мои! Настало время - Лотос зовет, я принужден с вами расстаться!

Тут он подошел к юной чете и стал с ней тихо беседовать. Бальтазар и Кандида были очень растроганы; казалось, Проспер преподавал им различные благие советы; он обнял их с нежной

горячностью.

Затем он обратился к фрейлейн фон Розеншен и так же тихо заговорил с ней, - вероятно, она надавала ему различные поручения по части волшебства и фей, и он весьма охотно взялся их исполнить.

Меж тем с облаков спустилась маленькая хрустальная карета, влекомая двумя сверкающими стрекозами, которыми правил серебристый фазан.

- Прощайте, прощайте! - воскликнул Проспер Альпанус, сел в карету и стал подниматься все выше и выше над полыхающими радугами, пока наконец не сверкнул в небесной выси маленькой звездочкой, скрывшейся в облаках.

- Прекрасный Монгольфьер! - прохрипел Мош Терпин и, одоленный вином, погрузился в глубокий сон.

Бальтазар, вняв советам Проспера Альпануса, извлекая разумную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в самом деле хорошим поэтом, а так как другие свойства этого имения, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпанус, вполне оправдались и так как Кандида никогда не снимала ожерелья, подаренного ей на свадьбе канониссой Розеншен, то Бальтазар зажил в счастливом супружестве, радости и блаженстве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной и молодой женой.

И, таким образом, сказка о крошке Цахесе, по прозванию Циннобер, теперь и впрямь получила радостный конец.